

НОВАЯ
газета



Бенедикт Сарнов

Империя зла

Невыдуманные истории

Вещественные
доказательства

Серия
"Вещественные
доказательства"

В Туруханском районе, где недавно был в командировке, спросил своего товарища, собственного корреспондента "Новой газеты" в Красноярском крае Алексея Тарасова:

— Скажите, Леша, почему в этом лагерном крае, где всюду могилы, народ тоскует по Сталину и памятники ему пытались восстановить?

— А потому, — ответил Тарасов, — что ээки здесь погибали, а вохра и чекисты давали крепкое потомство.

Вот чтобы это крепкое потомство знало, что память возвращается и возмездие будет, — издаем мы эти книжки.

Главный редактор "Новой газеты"

ДМИТРИЙ МУРАТОВ

Бенедикт Сарнов

Империя зла

Невыдуманные истории

новая газета

2011

УДК 94(47+57)<19> + 008(47+57)(092)

ББК 63.3(2)6-8

С20

Составление и общая редакция

ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ

Художественное оформление и макет

АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО

Редакция “Новой газеты” выражает особую благодарность

АЛЕКСАНДРУ ЕВГЕНЬЕВИЧУ ЛЕБЕДЕВУ

за поддержку в издании

книжной серии “Вещественные доказательства”.

Сарнов Б.

С20 Империя зла: Невыдуманные истории / Б. Сарнов. — М.: Новая газета, 2011. — 272 с. (Вещественные доказательства)

ISBN: 978-5-91147-011-1

ISSN 2223-3253

Бенедикт Сарнов (1927 г. р.) — один из самых ярких критиков и литературоведов шестидесятых, ныне известный писатель, автор двадцати шести книг. В годы застоя не издавался около двадцати лет. В настоящее время активно публикуется. Одна из главных его тем может быть определена так — художественная интеллигенция и тирания. Он глубоко исследует механизмы страха, компромисса и сопротивления.

В этой книге — невыдуманные истории взаимоотношений со сталинской машиной репрессий и самим Сталиным как обыкновенных людей, так и известных: актрисы Окуневской, писателя Шкловского, поэта Смелякова, драматурга Эрдмана, писателя Булгакова..

Охраняется Законом РФ об авторском праве

УДК 94(47+57)<19> + 008(47+57)(092)

ББК 63.3(2)6-8

ISBN: 978-5-91147-011-1

ISSN 2223-3253

© Б. Сарнов, 2011

© А. Бондаренко, художественное оформление, 2011

© “Новая газета”, издание на русском языке, 2011

Содержание

От автора	9
-----------------	---

Невыдуманные истории

И вас действительно били?	13
Продолжение истории Павлика Морозова	14
Они умирали от страха	18
Не дай вам Бог!	20
Почему вы не застрелились?	21
Как критик Данин поступил по-свински со своим другом поэтом Смеляковым	22
Шкловский на Беломорканале	24
Голубчик, это же Россия!	25

Наш советский новояз

Морально всё, что служит делу пролетариата (теория) ..	37
Морально всё, что служит делу пролетариата (практика).	46
Нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять	50

Пролетарский гуманизм	53
Сын за отца не отвечает	57
ЦК и ЧК	66
Лишенцы	82

Драмы драматургов

Страх	93
“Однажды ГПУ пришло к Эзопу...”	138
Всё-таки раздавил	170
Об авторе	270

*А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя*

АННА АХМАТОВА

От автора

Как любой из моих соотечественников, заставших сталинские времена (когда Сталин умер, мне было 26 лет), я легко мог бы оказаться в лагере или в ссылке. (Как потом узнал, однажды был совсем к этому близок.) Но, по счастью, чаша сия меня миновала. И поэтому (не только поэтому, конечно, но и поэтому тоже) на лагерную тему я никогда не писал.

Писал о судьбах русских писателей и поэтов XX века. О современном русском языке (политическом жаргоне советской эпохи). Записывал казавшиеся мне особенно интересными рассказы друзей и знакомых. Но, разрабатывая каждую из этих в разное время занимавших меня тем, всякий раз неизбежно утыкался в колючую проволоку ГУЛАГа. И если писал, не держа себя за руки, не оглядываясь на цензора и внутреннего редактора, с той же неизбежностью вынужден был переступить рубеж этой запретной зоны.

Так постепенно открылась мне простая и самоочевидная истина, заключающаяся в том, что пресловутый Архипелаг ГУЛАГ был не просто опухолью — пусть даже злокачественной и давшей метастазы, — на теле в основе

своей здорового организма. Нет! Это и была основа созданного Лениным и Сталиным (больше — Сталиным) государства, самая суть сталинской *Империи Зла*.

Не только те, что оказались там, за колючей проволокой, — все мы дышали отравленным воздухом ГУЛАГа. И вот, сколько лет уже прошло, а следы этого яда — до сих пор в наших легких.

Поэтому я и счел нужным сложить, составить эту книжку и назвать ее так, как назвал.

Невыдуманные истории

И вас действительно били?

Известная киноактриса О. — женщина редкой красоты и редкого очарования — вскоре после войны была арестована. В лагере ей досталось особенно тяжко. А до ареста — на воле — она была знаменита. За ней ухаживали, благосклонности ее добивались многие, в том числе и весьма высокопоставленные люди. В числе тогдашних ее “светских” знакомых был и Абакумов — народный комиссар госбезопасности. И вот, доведенная до отчаяния, она решила написать ему письмо, напомнить о давнем знакомстве и попросить разобраться в ее деле.

Письмо было написано. Это была не вполне официальная просьба. Это было очень личное письмо. И предельно откровенное. Она подробно рассказывала в нем обо всех издевательствах, которым подвергалась за все время своего тюремного и лагерного бытия.

Письмо было отправлено, разумеется, не по официальным каналам, и каким-то чудом дошло до адресата. И вот в один прекрасный день ее извлекли с самого лагерного дна, отмыли, подкормили, приодели и повезли

в Москву. И привезли прямо на Лубянку. И не куда-нибудь, а в кабинет наркома.

Нарком вышел ей навстречу, поцеловал ей руку — так, словно дело происходило на каком-нибудь кремлевском банкете. В глубине комнаты был уже накрыт стол на два куверта: коньяк, шампанское, фрукты, пирожные...

Нарком сделал актрисе приглашающий жест, сел напротив нее, разлил вино в бокалы. И полилась непринужденная светская беседа — о том, о сем. Вспоминали прошлое. Актриса ожила и уже совсем поверила, что все ее мытарства позади. И вот наконец нарком, оставив пустую светскую болтовню, заговорил о деле.

— Я прочел ваше письмо, — сказал он. — Неужели все, о чем вы там пишете, — правда?

— Правда, — подтвердила актриса.

— И вас действительно били? — спросил нарком.

— Били, — снова подтвердила она.

— А как тебя били? — спросил нарком. — Так?

И он дал ей кулаком в зубы.

— Или так?

Последовал еще один зубодробительный удар.

— Или, может быть, так?

Натешившись вволю, нарком вызвал охрану. Избитую, окровавленную актрису унесли. Бросили в камеру, а спустя несколько дней отправили назад, в зону.

Продолжение истории Павлика Морозова

В 1955 году в моей жизни случились два важных события: у меня родился сын и я устроился на работу.

Сразу лезут в голову знаменитые строки Пастернака:

Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячества пришлось на время бросить.

Но к моему случаю они не подходят.

Если даже мне и было свойственно то, что Пастернак, говоря о себе, назвал ребячествами, то я эти свои ребячества готов был бросить давно — еще четыре года тому назад, как только окончил институт. Но о том, чтобы устроиться на какую-нибудь штатную работу, я не мог тогда даже и мечтать. А тут даже и искать не пришлось: меня *пригласили*.

Мой отец утверждал, что главной причиной этого неслыханного везенья было рождение сына. Появился на свет новый человек, которого надо было кормить, растить и все такое прочее. И высшие силы — там, наверху, — следящие за тем, чтобы все было правильно в этом мире, распорядились найти для меня какие-то средства пропитания.

На самом деле, конечно, причина была другая: после смерти Сталина началось медленное таяние ледника, под тяжестью которого мы жили... Мое объяснение выглядит, конечно, суше и прозаичнее. Но оно, как мне кажется, ближе к истине. Впрочем, дело не в объяснениях, а в сути. Суть же заключалась в том, что я, вчера еще отвечавший на письма детей в “Пионерской правде” по десять копеек за ответ и считавший этот мизерный и непрочный заработок величайшим благом, стал *заведующим отделом художественной литературы журнала “Пионер”*.

У меня появились отдельный кабинет и телефон, по которому мне звонили самые разные люди, в том числе

и те, до которых раньше мне было не дотянуться. Всем им я был нужен. Все они обращались ко мне с просьбами. Кто-то хлопотал за талантливого молодого человека, пишущего стихи, и молил напечатать хоть одно, хоть самое маленькое его стихотвореньице. Кто-то — за старушку, которая отыскала и перевела на русский язык неизвестный, никогда прежде не печатавшийся в России рассказ Марка Твена. (Или Джека Лондона, или Конан-Дойля.)

И вот однажды позвонил по этому телефону Лев Эммануилович Разгон и сказал:

— Не сердитесь, пожалуйста! Я послал к вам одну женщину. Она пишет рассказы... Рассказы, между нами говоря, довольно слабые. Но я вас прошу: будьте с нею поласковее. Если не сможете ничего отобрать, так хоть откажите ей как-нибудь помягче: она, бедняга, только-только вернулась. Отсидела двадцать лет...

Двадцать лет! Это произвело на меня впечатление.

Оттуда возвращались тогда многие. Но максимальный — и чаще всего мелькавший в разговорах на эту тему — срок отсидки определялся цифрой семнадцать. Сам Лев Эммануилович, кстати, кажется, тоже отсидел ровно семнадцать лет. А тут — двадцать!

Естественно, я ожидал, что по этой рекомендации Разгона ко мне явится изможденная, быть может, даже дряхлая старуха.

Явилась, однако, весьма привлекательная молодая женщина. Молодая даже по тогдашним моим понятиям.

— Сколько же вам было, когда вас... Когда вы... И как вы ухитрились загреметь на целых двадцать лет? — не удержался я от вопроса.

И она рассказала такую историю.

Дело было в 1934 году (а не в тридцать седьмом — тридцать восьмом, как у большинства: отсюда и двадцать

лет вместо семнадцати). Ей было девятнадцать лет, она была, как говорили тогда, на пионерской работе. Попросту говоря, была пионервожатой. Пописывала разные очерки и статейки, печаталась иногда в “Пионерской правде”. То есть была уже как бы на виду. И вот в награду за все эти ее комсомольско-пионерские заслуги послали ее на лето пионервожатой в знаменитый пионерский лагерь “Артек”.

Работа эта ей нравилась, детей она любила, легко и хорошо с ними ладила, поскольку и сама была не намного старше своих питомцев.

Но однажды произошел такой случай.

Созвал всех вожатых к себе в кабинет начальник лагеря и сделал им такое сообщение.

— Завтра, — сказал он, — к нам прибывает *партия детей, повторивших подвиг Павлика Морозова*. И мы должны устроить им торжественную встречу.

Все приняли это как должное. А если кто и удивился, то виду не подал, понимая, что возражать тут не приходится. Не смолчала только она, моя рассказчица.

— Понимаю! — прервал я ее рассказ. — Вы не удержались, наговорили им сорок бочек арестантов, сказали, как это чудовищно, когда сын доносит на родного отца, а общество не только поощряет доносительство, но даже объявляет это подвигом...

— Нет, — покачала она головой. — Ничего подобного я им тогда не сказала. Да, по правде говоря, я тогда так и не думала. Я сказала всего лишь, что дети эти, конечно, герои: они действительно совершили подвиг, поступили, как подобает настоящим пионерам, верным ленинцам. Но все-таки, сказала я, донести на родного отца или на родную мать — непросто. Для нормального

ребенка это огромная душевная травма. Поэтому, сказала я, мне кажется, что не следует устраивать этим детям торжественную встречу. Да и вообще не стоит им напоминать об этом их подвиге. Надо просто принять их в наш коллектив и сказать всем нашим ребятам, чтобы они были к ним повнимательнее, чтобы ни в коем случае не заводили никаких разговоров на эту деликатную тему, ни о чем таком их не расспрашивали...

Ей, конечно, дали суровый отпор. Начальник лагеря сказал, что выступление ее по существу является антипартийным, что его даже следовало бы рассматривать как вылазку классового врага. Но зная ее как хорошего работника, настоящую комсомолку, преданную делу партии Ленина—Сталина, он считает возможным на первый раз ограничиться замечанием.

Тем бы, наверно, дело и кончилось. Но упрямая девчонка на этом не успокоилась.

Под впечатлением услышанного она сочинила рассказ о мальчике, который донес на своего отца, а когда отца арестовали, промучившись несколько дней угрызениями совести, не выдержал, кинулся в озеро и утонул.

Мало того. Сочинив этот рассказ, она прочла его своим питомцам на пионерском костре.

Ну и тут, конечно, уже ничто не могло ее спасти.

Они умирали от страха

У моего приятеля Тодика Бархударяна было длинное, узкое лицо. Тонкие губы постоянно кривила ироническая усмешка. Такой же усмешкой светились его глаза под большими очками в роговой оправе.

В юности Тодик мечтал стать актером. Для этого у него вроде были все данные. Во всяком случае, руководитель их школьного драмкружка неизменно его хвалил и предрекал ему славное актерское будущее. Вот только роли он почему-то всегда давал ему какие-то неприятные. А Тодик, естественно, стремился заполучить хорошую роль. Он все ждал и надеялся, когда же наконец ему выпадет сыграть главного героя какой-нибудь пьесы. И однажды, не выдержав, прямо обратился с этой просьбой к руководителю.

Выслушав его, тот сказал:

— Тодик! Посмотри на себя в зеркало. Ведь у тебя же умное, интеллигентное лицо. Ну сам подумай, разве ты можешь с таким лицом играть положительного героя в советской пьесе? С таким лицом тебе надо играть троцкиста, меньшевика, эсера. В лучшем случае, иностранного шпиона.

Тодик наверняка согласился бы и на такой вариант: пусть меньшевик, пусть шпион, пусть даже троцкист. Лишь бы роль была не третьестепенная (“Кушать подано!”), а из самых важных в пьесе. Он был тогда молод и глуп, и не понимал, какими опасностями был бы чреват для него такой поворот событий.

Вот, например, два знаменитых наших актера — Берсенев и Жаков (у них на беду тоже были умные и интеллигентные лица) — в фильме “Великий гражданин” играли троцкистов. Роли их были как раз из главных, и сыграли они их блестяще. Но именно в высоком их актерском мастерстве, именно в том, что негодяй-троцкисты, погубившие главного героя, выглядели в их исполнении очень уж натурально, таилась для них смертельная опасность. Они просто умирали от страха. (Я читал об этом в мемуарах чуть ли не самого Берсенева.)

Каждую ночь просыпались они в холодном поту: им снилось, что, посмотрев фильм, Сталин говорит, посаывая свою знаменитую трубку:

— А к этим двоим надо получше присмотреться. Уж больно хорошо удались им их роли. Не иначе, каждый нашел в своей душе какие-то черты, роднящие их с мерзавцами, которых они играют.

Не дай вам Бог!

Однажды мне случилось услышать рассказ академика Алиханяна о том, как он познакомился с Солженицыным и пригласил его к себе домой. Тот охотно принял приглашение, но, оказавшись в квартире академика, вел себя как-то странно: все время глядел на пол. Причем — с каким-то особым, преувеличенным интересом.

Заметив некоторое недоумение хозяев, объяснил, что в бытность свою эком работал в этом — только выстроенном тогда доме и, кажется, даже в этой самой квартире — паркетчиком.

Вспомнив это, Алиханян рассказал заодно и о том, как он получал эту квартиру.

Ему выдали так называемый смотровой ордер, и он с женой пришел поглядеть будущее свое жилье. И наткнулся там на какого-то мрачного рослого генерала, у которого, как оказалось, тоже были виды на эту квартиру. Генералу квартира, судя по всему, не показалась. Буркнув что-то не шибко вежливое, он удалился, дав понять, что он Алиханяну — не конкурент. Алиханян же, как человек воспитанный, прощаясь с ним, сказал какую-то вежливую фразу в том духе, что гора с горой не сходятся, а

человек с человеком... Может быть, Бог даст, еще когда-нибудь, где-нибудь...

Генерал мрачно выслушал эту речь и сказал:

— Не дай вам Бог!

Это был Абакумов.

Почему вы не застрелились?

А эту историю мне рассказал Юра Левитанский.

До войны он учился в ИФЛИ. И был у него там дружок. Я даже фамилию его запомнил: Непомнящий. Коля, по-моему. Коля Непомнящий.

Этот Коля был двумя или тремя годами старше Юры: успел повоевать на Финской. А когда началась главная наша, большая война — попал в окружение. Дальше — плен. Бежал. Прошел проверочные лагеря — и снова на фронт. И тут — новая беда: снова плен.

Однако выжил. Ну и, конечно, загремел в лагерь. На этот раз уже — в свой, советский.

Из лагеря он вернулся в Москву после XX съезда. А Москва, как известно, слезам не верит: на работу устроиться ни на какую не удастся, потому что нет прописки. А не работающего — не прописывают.

Он вконец обнищал, ночевал на вокзалах. И когда дошел до края, решил позвонить бывшему своему курснику — Шурику Шелепину. Тот в то время был уже большим человеком — первым секретарем ЦК ВЛКСМ.

И представьте — дозвонился!

И можете себе представить? Шурик ему обрадовался. О чем речь, говорит, приходи! Всё, что надо, сделаю.

И вот они встретились.

Встретились, рассказывал Коля, по-братски. И согретый этим братским приемом, он всё ему выложил. Обо всех своих злоключениях рассказал, ничего не скрывая, как брату.

По ходу этого рассказа Шурик становился все холоднее, незаметно перешел с Колей на вы.

Тем не менее, запинаясь и комкая, Коля все-таки как-то — с грехом пополам — довел свой рассказ до конца. Он уже понял, что затея его с треском провалилась, и не ждал от своего визита к старому институтскому товарищу ничего хорошего. Он даже приготовился услышать от него что-нибудь вроде: “Извини, брат... Ничем не могу тебе помочь... Перед этими обстоятельствами даже я бессилён...”

Но старый институтский товарищ повел себя иначе. И сказал он совсем не то, что Коля ожидал от него услышать.

Подняв на него пустые, холодные, чужие глаза, он спросил:

— А почему вы не застрелились?

Как критик Данин поступил по-свински со своим другом поэтом Смеляковым

Даниил Семенович Данин и Ярослав Васильевич Смеляков были близкими друзьями. Они подружились еще в юные годы. Ну а потом было всякое, но дружба продолжалась.

До войны Смеляков побывал в лагере, а во время

войны — в плену. Потом ему предстояла еще одна отсидка, о чем он, конечно, не знал, но опасаться этого мог, поскольку в известные времена брали так называемых повторников: то есть тот, кто однажды уже побывал “за той стеной”, оказывался там вторично, и никакого особого нового повода для этого было не надо.

Однако, выйдя после первой отсидки на волю, Смеляков опубликовал цикл прекрасных стихов. И старый его приятель Данин, возликовав, что дела друга идут на лад, да и стихи, повторяю, были на редкость хороши, тотчас же написал и опубликовал (в “Литературной газете”) восторженную статью, озаглавив ее “по-пастернаковски” — “Второе рождение поэта”.

Естественно, по этому поводу предполагался большой выпивон, и в каком-то дружеском кругу событие это было уже соответствующим образом отмечено. Но — без поэта. Поэт почему-то молчит. Не реагирует.

И вот дома у Данина наконец раздается телефонный звонок.

Звонит Смеляков и мрачным голосом говорит, что им надо встретиться. И они встречаются в полуподвальной забегаловке на углу Столешникова. Чокаются граненными стаканами. Все вроде как полагается. Но поэт — мрачен. Он явно не в духе. Отводит глаза, и о радостной статье друга-критика — ни звука.

Наконец, не знаю уж, после какого стакана, поэт отверзает уста.

— Скотство, — говорит он. — Ну зачем ты это написал? Выставиться захотелось?!

— Ярочка! — говорит обомлевший критик. — Ты что, спятил?

— Я-то не спятил, — говорит поэт, — а вот ты, видать, и впрямь рехнулся. Только о себе думаешь. А о моей

судьбе ты подумал? Ведь теперь из-за тебя, мудака, меня опять не будут печатать.

— Да ты просто тронулся, — отвечает ему все еще ничего не понимающий Данин.

— Я-то не тронулся, — мрачно повторяет всерьез расстроенный Смеляков. — Ты что, не понимаешь, что мне теперь надо жить в незаметности? А теперь из-за этой твоей сволочной статьи такое начнется...

В общем, вышла самая настоящая ссора, после которой отношения двух друзей в полной мере, кажется, так и не восстановились.

А вскоре выяснилось, что Смеляков точно в воду глядел. Прошло совсем немного времени, и кто-то из высоких руководителей Союза писателей СССР публично, а потом и в печати, объявил злополучную данинскую статью “эстетским захваливанием”. Это был сигнал. И главные редакторы журналов, еще недавно встречавшие Смелякова приветливыми улыбками, стали стыдливо отводить от него глаза и делать вид, что они незнакомы и, в сущности, даже не знают, кто это такой.

Так что социальный опыт, обретенный Ярославом Васильевичем за время его разлуки с другом-критиком, прошел для него не зря. Он теперь куда лучше, чем тот, знал и понимал, в какой стране живет, и как и что тут бывает.

Шкловский на Беломорканале

В начале 30-х арестовали брата Виктора Борисовича, известного филолога Владимира Борисовича Шкловского. Виктор Борисович обратился за помощью к Горькому,

и тот — не так чтобы очень охотно, — но все-таки поговорил с Ягодой. И Ягода позвонил Шкловскому. Назвав его по имени и отчеству, он сказал, что Владимир Борисович на Беломорканале, куда он отправлен на “перевоспитание”, что условия там хорошие и вообще все в порядке, в чем он, Виктор Борисович, может лично убедиться, если захочет туда поехать. Заодно и посмотрит своими глазами на эту великую кузницу, где бывших преступников чекисты перековывают в полезных членов общества.

И Виктор Борисович поехал.

Спасти брата ему не удалось: Владимир Борисович впоследствии так и погиб там, на сталинской каторге.

Но Виктора Борисовича во все время его поездки по Беломорканалу чекисты принимали как дорогого гостя: знали ведь, по чьему личному указанию он сюда прибыл. И как-то один из хозяев поинтересовался у дорогого гостя, как он себя тут, у них в гостях, чувствует.

И вот тут-то и прозвучал его знаменитый ответ:
— Как живая чернобурая лиса в меховом магазине.

Голубчик, это же Россия!

Когда в 1946 году, прямо со школьной скамьи, я пришел в Литературный институт, старые литинститутцы, задирая нос перед такими желторотыми юнцами, как я, с гордостью перечисляли всех, кто в разное время учился в их “лицее”. Громко назывались имена Константина Симонова, Маргариты Алигер. И шепотом — другие имена, тогда нам ничего не говорившие.

Из тех, о ком говорили шепотом, особенно мне запомнилось имя Аркадия Белинкова. О нем рассказывали, что он написал книгу, которую назвал так: “Черновик чувств. Антисоветский роман”. Роман этот он довольно широко читал в кругу не очень близких знакомых. Последствия не замедлили сказаться. Ходили слухи, что Белинков расстрелян. (А на что еще, собственно, мог рассчитывать человек, который сам назвал сочиненный им роман антисоветским, если за сравнительно невинный анекдот в те годы свободно можно было схлопотать “десятку”.)

Впоследствии выяснилось, что приговор был несопоставимо более мягкий: 8 лет лагеря. Но там, в лагере, он был осужден еще раз — на 25 лет...

И вот он — жив. Реабилитирован. (Впрочем, нет — кажется, пока еще только амнистирован.) Живет в Москве. И даже опубликовал книгу — говорят, замечательную — о Тынянове.

Книгу я прочел, и она действительно оказалась замечательной. А потом до меня стали доходить разного рода устные рассказы о Белинкове. В основном от общих знакомых: Виктора Борисовича Шкловского и Серафимы Густавовны Нарбут. (Белинков одно время жил у них на даче в Шереметьеве.)

В рассказах этих он представлял совсем не таким, каким рисовало его мое воображение. В них возникал образ человека жеманного, манерного, кокетливого и — отчаянного лгуна.

В том же духе изобразил мне как-то Белинкова (впрочем, без всякого осуждения, скорее с симпатией, пронизанной добродушным юмором) мой друг Эма Мандель (Наум Коржавин). В одной компании ему передали рассказ Аркадия о том, как следователь пытал

его, вымогая признание. Пытка была такая: следователь якобы опускал ноги подсудимого в кастрюлю с кипящей водой. Кастрюля стояла на примусе, который следователю приходилось время от времени подкачивать. Соль рассказа состояла в том, что примус работал очень плохо, следователя это злило, а душу подсудимого переполняло злорадным весельем: вот, даже орудия пытки (примус) и те у них никуда не годятся...

Выслушав эту историю, Мандель, который и сам провел одиннадцать месяцев во внутренней тюрьме Лубянки, выразил сомнение в ее правдоподобии. И вот однажды на улице к нему подошел Белинков и, церемонно раскланявшись, сказал:

— До меня дошли слухи, что вы защищали от меня сталинских палачей. Вас будто бы привели в негодование мои рассказы, бросающие тень на их светлый образ...

— Нет, — слегка растерявшись, ответил Мандель. — Я никого не защищал. Я только усомнился в достоверности вашей истории про примус.

— А-а, стало быть, сталинских палачей вы не защищали? — с удовлетворением констатировал Белинков.

— Нет, сталинских палачей не защищал, — решительно подтвердил Мандель.

— Тогда другое дело.

Вполне удовлетворенный этим объяснением, Белинков, так же церемонно раскланявшись, удалился.

Таких анекдотов о Белинкове я слышал множество. И хотя у меня не было никаких оснований им не верить, я все-таки думал, что на самом деле он совсем не таков, каким его обычно изображают. Очень уж не соответствовал этот образ моим представлениям о человеке, отважившемся не только сочинить, но и читать вслух “антисоветский роман”.

Однако когда я познакомился с Аркадием и в особенности когда сошелся с ним поближе, я убедился, что все эти юмористические истории довольно точно передают самую суть этого необыкновенного, причудливого, экстравагантного человека.

Он был миниатюрен, изящен. Внешне (узкое лицо, гладко зачесанные набок темные волосы, очки в тонкой оправе) слегка напоминал Грибоедова. Очень любил изысканные, архаические речевые обороты. Один из самых любимых: “Полноте, голубчик!” Никто из моих сверстников и даже те из моих знакомых, которым я годился в сыновья, таких выражений не употребляли. Всё это наводило на мысль, что Аркадий стилизует себя — и внешний облик, и манеры, и речь — под старого русского интеллигента. Но это не было чистым актерством. То ли облик этот пришелся ему точно впору, оказался самой подходящей одеждой для его душевного склада, то ли маска, как говорят в таких случаях, прочно приросла к лицу.

Однажды у нас зашла речь о довольно близком к нему человеке, которого многие тогда считали стукачом. Незадолго до того был обыск у одного видного литературоведа, который якобы рассказывал потом, что обыскивавшие подходили к его книжным полкам и безошибочно точным жестом снимали с них именно те книги, которые на протяжении последних месяцев брал у литературоведа почитать тот самый человек, которого многие и раньше подозревали (а теперь эти подозрения укрепились) в стукачестве.

Аркадий по этому поводу сказал:

— Вы, люди цивилизные, очень падки на такие обвинения. С легкостью необыкновенной так сразу и припечатываете: “Стукач!” А мы, старые лагерники, на сей счет

весьма щепетильны. Я бы не советовал вам, голубчик, повторять этот слух. По крайней мере до тех пор, пока он не получит совершенно точных и неопровержимых подтверждений.

Я согласился, что называть человека стукачом, основываясь на слухах, возмутительно.

Прошло несколько дней, и Аркадий вернулся к этой теме.

— Вы помните, голубчик, давеча мы с вами говорили о Таком-то, что он, дескать, тайный агент охраны. Так вот, сведения эти, как ни грустно, полностью подтвердились.

— Да что вы?

— Увы, друг мой. С совершенной точностью. Однако же не скрою от вас, что я вовсе не намерен на этом основании отказывать ему от дома.

— Вот как? И приятельствовать с ним по-прежнему будете? — спросил я, невольно впадая в свойственную Аркадию изысканную манеру речи.

— А почему бы и нет? Бояться мне, слава Богу, уже нечего. Я свое заплатил сполна. А что до его нравственных качеств, так они меня, по правде говоря, мало заботят.

— То есть как? — изумился я.

— А вот так. Человек он занятный. Притом у него множество достоинств.

— Например?

— Например, бескорыстная любовь к литературе.

— А как эта бескорыстная любовь, — уже слегка раздражаясь, сказал я, — сочетается у него с отнюдь не бескорыстной службой в Третьем отделении?

— Ах, полноте, голубчик! Разве Гончаров не был цензором? Ведь это же Россия!

Продолжать спор я не стал, тем более что он тут же переменял тему.

— Я что-то сегодня совсем скверно себя чувствую. Вы не проводите меня до дому? Боюсь, один я нынче просто не дойду.

Жил он тогда неподалеку от меня — на Красноармейской. Мы двинулись в путь. Шел он очень медленно, поминутно останавливаясь и картинно изображая, что ему не хватает воздуха. Я не сомневался, что ему действительно худо: уже тогда я знал, что человек он очень больной. Но незадолго до того наш общий знакомый Юра Тимофеев, знавший Аркадия с детства, рассказал мне, что в Доме творчества в Переделкине у Аркадия был тяжелейший сердечный приступ. Юра привел к нему по случаю оказавшегося в том же Доме известного кардиолога, давнего своего знакомого. Отвечая на расспросы профессора, Аркадий сообщил ему, что тяжелая сердечная болезнь, которой он страдает (ревмокардит), приобретена им в лагере и является результатом пыток и издевательств сталинско-бериевских палачей.

— Зачем он морочил ему голову? — удивлялся Юра. — Кто-кто, но я-то ведь прекрасно знаю, что ревмокардит у него с раннего детства!

Может быть, ощущение, что Аркадию не так уж худо, как он старается это изобразить, возникло у меня под влиянием этого рассказа.

Как бы то ни было, хоть и гораздо медленнее, чем мне бы хотелось, но мы все-таки дошли до его дома и остановились под окнами, намереваясь распрощаться и разойтись. Но тут вдруг распахнулось окно и нас облили, как мне сперва показалось, водой.

— Вот чёрт! — довольно беззлобно пробормотал я. Но, принюхавшись, убедился, что то была отнюдь не вода. Не могло быть ни малейших сомнений, что кто-то из соседей Аркадия просто-напросто сблевал на нас

сверху. Тут уж я “чёртом” не ограничился, произвольно прибегнув к более сильным выражениям.

— Дорогой Бен, — попытался утихомирить меня Аркадий. — Я не советовал бы вам так откровенно намекать на ваши интимные отношения с матушкой этого хама. Чего доброго, он еще решит, что вы и впрямь ее дефлорировали.

Это тонкое рассуждение меня не остановило. Я прибегнул к еще более сильным выражениям. На что услышал знакомое:

— Полноте, голубчик! Это же Россия!

На другой день я заглянул к нему, чтобы узнать, как он себя чувствует. Он лежал на кушетке в позе умирающего. На мое приветствие ответил слабым движением руки. Вид у него при этом был совсем не болезненный: на щеках играл румянец, глаза блестели.

— Выглядите вы отлично! — бодро сказал я, ничуть при этом не покривив душой.

— Да, — слабым голосом ответил он. — Как раз незадолго до вашего визита я написал об этом небольшой рассказ. Благоволите взглянуть... Он совсем коротенький... Лежит прямо на машинке...

На машинке лежал листок бумаги.

— Да, это он, — подтвердил Аркадий, проследив за моим взглядом. — Сделайте милость, прочтите!

Взяв в руки листок и не обнаружив на нем никакого текста, я перевернул его. На обороте было написано следующее:

— Как хорошо вы сегодня выглядите, — сказал Виктор Борисович Шкловский, навестив Сергея Михайловича Эйзенштейна.

— Да, с нами, сердечниками, это бывает, — ответил Сергей Михайлович, отвернувшись к стене и умер.

— Впрочем, — сказал Аркадий, — не будем сегодня говорить о смерти. У меня нынче день ангела. Приходите вечером. Будут... — И он перечислил несколько человек из числа наших общих знакомых, упомянув и того, кто отличался бескорыстной любовью к литературе, состоя одновременно нештатным сотрудником КГБ.

“И как это не надоест всегда притворяться, вечно играть какую-то роль, постоянно думать о том, чтобы не выйти из образа!.. — с раздражением думал я. — Опять это вечное вранье!.. У него, видите ли, сегодня день ангела!.. Ну какой у тебя, к чёртовой матери, ангел! Крестили тебя, что ли? В 1921 году это было как-то уже не в обычае. Тем более в еврейских интеллигентных семьях...”

Я уже предвкушал унылый, тоскливый вечер. Что-то вроде известной картины: Белинский у постели больного Некрасова.

Каково же было мое изумление, когда, явившись на эти именины, я застал шумное застолье. Комната была набита битком. Дым стоял коромыслом. Аркадий смеялся, острил, ораторствовал, пил шампанское, самозабвенно танцевал твист.

Всё это продолжалось до глубокой ночи.

“Вот и верь после этого, что он болен! Актер, фанфарон, феерический лгун!” — уже совсем не сдерживая своего раздражения, думал я.

Впоследствии я готов был стореть со стыда, вспоминая эти свои мысли. Потому что в прочитанном мною в то утро “рассказе” Аркадия про Сергея Михайловича Эйзенштейна, как оказалось, не было и тени кокетства. Это была всего лишь спокойная констатация медицинского факта, истинность которого Аркадий довольно скоро неопровержимо подтвердил собственной смертью.

Он умер именно так, как предсказал в этом своем “рассказе”, успев перед смертью совершить свой последний головокружительный прыжок: по какой-то не очень надёжной характеристике из группкома литераторов уехал с женой туристом в Югославию и, нырнув таким образом под железный занавес, махнул оттуда через океан в Америку.

Но это уже совсем другая история — куда более интересная, чем то, что я сейчас вспомнил и рассказал. А вспомнил и решил записать всё рассказанное выше я потому, что в тот вечер, когда я глядел на вдохновенно пляшущего Аркадия и злился, предвестие истины всё-таки коснулось меня.

“Нет, — подумал я тогда. — Он не лгун. Он — художник”.

А недавно один дотошный человек каким-то чудом проник в архивы КГБ, разыскал и опубликовал протоколы допросов Аркадия. Протоколов таких сейчас опубликовано уже множество, и, казалось бы, еще одна стопка пожелтевших архивных документов, извлеченная из кагэбэшных закромов, ничем и никого уже не сможет удивить. И тем не менее, читая их, не перестаешь изумляться.

— Вы признаете, что изготовленные вами материалы являются антисоветскими? — спрашивает следователь.

По-разному отвечали подследственные на такие вопросы. Кто пытался уйти в глухую несознанку. Кто начал вилить, доказывая, что вовсе не имел в виду нанести ущерб любимой советской власти. Аркадий отвечает ясно и определенно:

— Да, признаю.

— С тех пор вы изменили свои антисоветские взгляды и убеждения? — следует новый вопрос. Это, в сущности,

спасательный круг, кинутый утопающему. Ну как не ухватиться за него, не ответить: “Да, конечно... Это старые, давно преодоленные мною заблуждения... Сейчас я уже думаю иначе...”

Аркадий отвечает:

— Нет, не изменил.

И вот я, давно уже давший себе зарок никогда и ничему больше в жизни не удивляться, читаю эти его ответы, за которые ему и намотали там, в лагере, новый — двадцатипятилетний — срок, и не могу понять: откуда в этом хрупком, дышащем на ладан, изнеженном, жеманном человеке, откуда в нем эта упорная, яростная, непобедимая сила сопротивления, эта способность не сломаться, даже не согнуться под страшным давлением чудовищной репрессивной машины, ломавшей и сгибавшей и не таких, как он?

И нет у меня на этот вопрос иного ответа, чем тот, который я столько раз — по разным поводам — слышал из его собственных уст:

— Голубчик! Это же Россия!

Наш советский новояз

Морально всё, что служит делу пролетариата (теория)

В советские времена, особенно в годы войны, у нас часто цитировалась знаменитая реплика Гитлера: “Я освобождаю вас от химеры, именуемой совестью!”

Никому из нас тогда не могло прийти в голову, что сходную мысль высказал и наш любимый “дедушка Ленин”. И не просто так, для красного словца: у него эта мысль была краеугольным камнем всей его философии: “Морально всё, что служит делу пролетариата”.

Утверждение это, в сущности, ничем не отличалось от гитлеровского. Фюрер ведь имел в виду, что, освобождая своих последователей от химеры, именуемой совестью, он всю ответственность за любые их бессовестные поступки берет на себя. Именно это подразумевал и наш вождь: ведь что служит, а что не служит делу пролетариата, будем решать не мы с вами, это будет решать он, Ленин.

В былые времена мне представлялось, что эта ленинская идея была не просто оригинальна, но в своем роде даже уникальна. Во всяком случае, я был убежден, что

тут Ленин был *первым*. Что именно он нашел такое простое решение этого старого, как мир, проклятого, мучительного вопроса.

Но оказалось, что у Владимира Ильича и тут был предшественник.

12 декабря 1825 года, за два дня до событий на Сенатской площади, к Кондратию Федоровичу Рылееву явился молодой литератор Яков Иванович Ростовцев и сказал, что долг повелевает ему довести до сведения императора (лучше сказать, будущего императора) Николая Павловича о готовящемся заговоре.

Получив в ответ на это заявление пощечину, он сказал: пожалуйста, можете сделать со мной все, что хотите, я отдаюсь на вашу волю. Но никто его не остановил. Он получил аудиенцию у Николая Павловича, сообщил ему о заговоре, не называя, впрочем, никаких имен и заранее отказался от любых наград и благодарностей.

Впоследствии (уже при Александре Николаевиче) он занимал разные высокие посты, был министром, и даже не просто министром, а генерал-инспектором (до него этот пост занимал великий князь Михаил Павлович), сыграл огромную, в какой-то момент даже решающую роль в деле освобождения крестьян от крепостной зависимости.

Уже из всего этого видно, что Яков Иванович был человек непростой. И уж во всяком случае — незаурядный.

Но, пожалуй, ярче всего эта его незаурядность проявилась в принадлежащей ему краткой словесной формуле, которая не только повторялась изустно, но даже была однажды приведена Герценом (разумеется, со ссылкой на автора).

Формула была такая:

“Совесть дается человеку для личного пользования, а в общих делах совесть заменяют указания начальства”.

Мысль, заключенная в этой короткой фразе, не то что бы поражала своей новизной. Но уж больно хорошо, а главное, откровенно она была выражена. (Тем, наверное, и заинтересовала Герцена.)

Впрочем, дело не только в удачном способе выражения. Сама эта идея выражала некоторые глубинные свойства русского национального (народного?) сознания.

Вот Лев Николаевич Толстой в последней главе “Анны Карениной” подробно пересказывает спор любимого своего героя — Константина Левина — с братом, Сергеем Ивановичем Кознышевым. Спор идет о российских добровольцах, бросившихся на волне якобы народного энтузиазма защищать своих кровных братьев и единоверцев сербов в их войне с турками.

Левин говорит, что частные люди (то есть добровольцы) не могут принимать участие в войне без разрешения правительства.

Он так поясняет свою мысль:

— Война есть такое животное, жестокое и ужасное дело, что ни один человек, не говоря уже христианин, не может лично взять на свою ответственность начало войны, а может только правительство, которое призвано к этому и приводится к войне неизбежно. В государственных делах, в особенности в деле войны, граждане отрекаются от своей личной воли.

Спор постепенно принимает все более крутой оборот, и в какой-то момент в него вмешивается (вернее, оказывается втянут) еще один, новый собеседник:

— Сознание своих судеб всегда есть в народе, и в такие минуты, как нынешние, оно выясняется ему, — утвердительно сказал Сергей Иванович, взглядывая на старика-пчельника.

Красивый старик с черной с проседью бородой и густыми серебряными волосами неподвижно стоял, держа чашку с медом, ласково и спокойно с высоты своего роста глядя на господ, очевидно ничего не понимая и не желая понимать.

— Это точно, — значительно покачивая головой, сказал он на слова Сергея Ивановича.

— Да вот спросите у него. Он ничего не знает и не думает, — сказал Левин. — Ты слышал, Михайлыч, об войне? — обратился он к нему. — Вот что в церкви читали? Ты что же думаешь? Надо нам воевать за христиан?

— Что ж нам думать? Александр Николаевич Император нас обдумал, он нас и обдумает во всех делах. Ему видней.

Несмотря на ироническую ремарку насчет того, что старик-пчельник, призванный в арбитры этого важного спора, слушал спорщиков “очевидно ничего не понимая и не желая понимать”, сам Толстой в этом споре явно на стороне Левина, который неожиданно открывает для себя в кажущейся бессмысленной реплике *человека из народа* не только некую важную истину, но и единственно верный ответ на все эти роковые вопросы:

Он не мог согласиться с тем, что десятки людей, в числе которых и брат его, имели право на основании того, что им рассказали сотни приходивших в столицы краснобаев-добровольцев, говорить, что они с газетами вы-

ражают волю и мысль народа, и такую мысль, которая выражается в мщении и убийстве... Он говорил вместе с Михайлычем и народом, выразившим свою мысль в предании о призвании Варягов: “Княжите и владейте нами. Мы радостно обещаем общую покорность. Весь труд, все унижения, все жертвы мы берем на себя; но не мы судим и решаем”. А теперь народ, по словам Сергей Ивановичей, отрекался от этого, купленного такой дорогой ценой права...

Это “купленное такой дорогой ценой” право, стало быть, состоит в том, чтобы снять с себя ответственность за принятие неких решений, не укладывающихся в его личные представления о том, что морально, а что аморально. Он, Левин, например, твердо знает, что мщение и убийство — аморальны. Но при этом не говорит, что никто, никогда, ни при каких обстоятельствах не заставит его мстить и убивать. Он настаивает только на одном: чтобы сохранялся, оставался незыблемым тот, еще со времен призвания варягов принятый на Руси порядок, при котором “не мы судим и решаем”.

Ну а если эти самые варяги, которых призвали (или какие-нибудь другие, которых еще призовут) “нами владеть и княжить”, если они, те, кому он “вместе с Михайлычем и народом” вверил (или вверит) право *судить и решать*, если тот же Михайлыч скажет: “Что ж нам думать? Кто там у нас нынче в Кремле сидит? Он нас и обдумает во всех делах. Ему видней”, а тот, “кому видней”, рассудит и решит, что *надо мстить и убивать*, — что он тогда запоет, наш умница-Левин?

Русские цари и российские императоры не сомневались в своем праве *судить и решать*, потому что они были *помазанники Божии*. Владимир Ильич Ленин не

сомневался в этом своем праве по другой — но не менее важной — причине: у него было сознание своей правоты, своей великой исторической миссии.

Ленин и те, кто шел за ним, победили в Гражданской войне по многим причинам. Но далеко не последней из них была та, что жестокостью и безоглядностью террора они далеко превосходили своих противников. Они легко перешагивали те моральные преграды, которые для их врагов были непреодолимы. Старая мораль не мешала им, она не стала препятствием на их кровавом пути. Ведь цель их была так безгранично велика, что для достижения ее — по слову Достоевского — *всё было дозволено*.

Современники тех кровавых событий, не сумевшие отрешиться от старой морали, к основополагающему ленинскому тезису отнеслись с негодованием и ужасом. Но в хоре этих негодующих голосов уже тогда прозвучала и другая, насмешливо-ироническая нота.



Я имею в виду написанный в 1921 году роман Ильи Эренбурга “Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников”, а точнее — ту главу этого знаменитого в ту пору романа (она называется “Великий инквизитор вне легенды”), в которой главный его герой в сопровождении своего любимого ученика Ильи Эренбурга посещает Кремль и беседует с самим Лениным.

Вот небольшой фрагмент, заключающий эту их беседу:

— Сегодня в “Известиях” опубликован список расстрелянных...

Коммунист прервал Учителя возгласом:

— Это ужасно! Но что делать — приходится!

Я не видал его лица, но по голосу понял, что он действительно удручен казнями, что слова его не дипломатическая отговорка, а искренняя жалость человека, вероятно, очень добродушного, никогда никого не обижавшего.

Он продолжал:

— Мы ведем человечество к лучшему будущему. Одни, которым это невыгодно, всячески мешают нам. Прячась за кусты, они стреляют в нас, взрывают дороги, отодвигают желанный привал. Мы должны их устранять, убивая одного для спасения тысячи. Другие упираются, не понимая, что их же счастье впереди, боятся тяжелого перехода, цепляются за жалкую тень вчерашнего шалаша. Мы гоним их вперед, гоним в рай железными бичами. Дезертира-красноармейца надо расстрелять для того, чтобы дети его, расстрелянного, познали бы всю сладость грядущей коммуны!..

Он вскочил, забежал по кабинету, заговорил уже без усмешки, быстро, отчаянно выкашливая слова:

— Зачем вы мне об этом говорите? Я сам знаю! Думаете — легко? Вам легко — глядеть! Им легко — повиноваться! Здесь — тяжесть, здесь — мука! Конечно, исторический процесс, неизбежность и прочее. Но кто-нибудь должен был позвать, начать, встать во главе... Я под образами валяться не буду, замаливать грехи, руки отмывать не стану. Просто говорю — тяжело. Но так надо, слышите, иначе нельзя!..

Высунувшись, я увидел, как Учитель подбежал к нему и поцеловал его высокий, крутой лоб. Очумев от неожиданности и ужаса, я бросился бежать. Опомнился я только у кремлевских ворот, где часовой остановил меня и Хуренито, требуя пропуска.

— Учитель, зачем вы его поцеловали? От благоговения или из жалости?

— Нет. Я всегда уважаю традиции страны. Коммунисты тоже, как я заметил, весьма традиционны в своих обычаях. Выслушав его, я вспомнил однородные прецеденты в сочинениях вашего Достоевского и, соблюдая этикет, отдал за многих и многих этот обрядный поцелуй.

Сейчас, когда обнародованы бесчисленные ленинские письма и записки с однотипными требованиями: “Расстрелять как можно больше!”, эта сцена многим, наверно, покажется слишком благостной, а образ Ильича, нарисованный ироническим пером Эренбурга, чуть ли даже не конфетным.

Сегодня более близким к реальности представляется иной образ Ленина: бездушного человека-автомата, холодно штампующего свои изуверские приказы.

Реальный Ленин, быть может, и в самом деле не был тем интеллигентом-истериком, каким его изобразил Эренбург. Но есть свидетельства, отчасти подтверждающие эту эренбурговскую версию.

Н.И. Бухарин рассказал однажды, что в ночь после разгона Учредительного собрания (они сидели в тесной компании) Ленин попросил кого-то из участников события подробно рассказать о том, как всё это происходило. Слушал, слушал и вдруг стал смеяться. Смеялся он долго, повторял про себя какие-то слова рассказчика и все смеялся, смеялся. Весело, заразительно, до слез. Хохотал.

“Мы не сразу поняли, — закончил Бухарин свой рассказ, — что это истерика”. И добавил: “В ту ночь мы боялись, что мы его потеряем”.

На самом деле, однако, не так уж важно, похож или непохож был реальный Ленин на выдуманного Эрен-

бургом “Главного коммуниста”, жалующегося на непосильность взваленной им на себя исторической ноши.

Как он там бегал по своему кремлевскому кабинету и мучительно выкашливал все эти свои жалкие слова, Эренбург, может быть, и не угадал. Но он угадал главное.

Он правильно понял, что, создавая эту свою железную формулу (“Морально всё, что служит делу пролетариата”) и выстраивая в соответствии с ней всю линию своего поведения, Владимир Ильич опирался на давнюю и прочную национальную традицию.

Морально всё, что служит делу пролетариата (практика)

В отличие от знаменитой гитлеровской фразы, с которой она так прочно рифмуется, в ленинской формуле слово “совесть” не упоминалось. Но свое отношение к этому “внеклассовому” понятию Ленин однажды высказал. И вполне недвусмысленно.

В 1910 году, когда умер Л.Н. Толстой, он откликнулся на это событие специальной статьей. И вот что там у него об этом говорилось:

Либералы выдвигают на первый план, что Толстой — “великая совесть”. Разве это не пустая фраза?..

Слово “совесть” Ильича явно раздражало. В его концепцию “классовой морали” оно не укладывалось.

И это не только в теории. В жизни — во всяком случае, в партийной и государственной своей деятельности — он тоже освободил себя и своих соратников от этой химеры.

Вот небольшая история — как раз на эту тему. Я вычитал ее в книге русского писателя-эмигранта Романа Гуля “Я унес Россию”. А автор этой книги записал ее со слов старого большевика Александра Дмитриевича Нагловского.

Было это во время одного из обычных, ничем не примечательных заседаний Совнаркома.

Обстановку и характер этих заседаний Нагловский описывает так:

— У стены стоял простой канцелярский стол, за которым сидел Ленин, рядом — его секретарша Фотиева, женщина ничем, кроме преданности вождю, не примечательная. На скамейках, стоящих перед столом Ленина, как ученики за партами, сидели народные комиссары и вызванные на заседание видные партийцы.

Такие же скамейки стояли у стен перпендикулярно по направлению к столу Ленина. На них так же тихо и скромно сидели наркомы, замнаркомы... В общем, это был класс с учителем, довольно-таки нетерпеливым, осаживающим “учеников” иногда довольно грубыми окриками, несмотря на то, что “ученики” перед “учителем” трепетали и вели себя на удивление примерно.

Несколько свободнее других “учеников” вел себя Дзержинский.

Он очень часто входил, молча садился и так же молча уходил среди заседания.

Вот и в этот раз, при обсуждении вопроса о снабжении продовольствием железнодорожников, в “класс” с послушными “учениками” вошел Дзержинский. Вошел и сел неподалеку от Ленина.

На заседаниях у Ленина была привычка переписываться короткими записками. В этот раз очередная записка пошла Дзержинскому:

Сколько у нас в тюрьмах злостных контрреволюционеров?

В ответ от Дзержинского к Ленину вернулась записка:

Около полутора тысяч.

Ленин прочел, что-то хмыкнул, поставил возле цифры крест и передал ее обратно Дзержинскому.

Дзержинский встал и, как обычно, ни на кого не глядя, вышел. Ни на записку, ни на уход Дзержинского никто не обратил никакого внимания. Заседание продолжалось. И только на другой день вся эта переписка вместе с ее финалом стала достоянием разговоров, шепотов, пожиманий плечами.

Оказывается, Дзержинский всех этих “около полутора тысяч злостных контрреволюционеров” в ту же ночь расстрелял, ибо “крест” Ленина им был понят как указание.

Разумеется, никаких шепотов, разговоров и качаний головами этот крест вождя и не вызвал бы, если бы он действительно означал распоряжение о расстреле. Но, как призналась рассказчику Фотиева, произошло недоразумение.

— Владимир Ильич, — объяснила она, — вовсе не хотел расстрела. Товарищ Дзержинский его не понял. Владимир Ильич обычно ставит на записках крест как знак того, что он прочел и принял, так сказать, к сведению.

Рассказчик поинтересовался: а как Ленин реагировал на случившееся, когда “недоразумение” разъяснилось?

Оказалось, что никак не реагировал.

Вот если бы ему сказали, замечает рассказчик, что какой-то поезд с продовольствием не дошел вовремя до места назначения, — вот тогда он бы реагировал. И еще как! Повинные в разгильдяйстве подверглись бы самому жестокому разному. А тут...

Даже не поморщился.

Нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять

Это фраза Сталина, которая, как и многие другие сталинские фразы, стала сперва партийным лозунгом, а потом расхожим клише советского новояза.

В 1937 году, когда разгул сталинского террора достиг высшей точки, сомкнувшись со старой английской поговоркой (“Мой дом — моя крепость”), она обрела новое звучание, новый смысл. Возникла такая — ироническая и одновременно зловещая — речевая контаминация:

Мой дом — моя крепость, но нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять.

Таких крепостей и в самом деле не было. У нас ведь не Англия: чекисты в любой час дня и ночи могли ворваться в любой дом и — с ордером, а то и без ордера — увести с собой хозяина.

Это был непререкаемый закон тогдашней нашей

жизни. Общее правило. Но, как известно, не бывает правил без исключений.

Об одном таком исключении мне рассказал Алексей Яковлевич Каплер.

Был у него приятель — человек редкой храбрости и огромной физической силы. В Гражданскую войну он был конником в армии Буденного. А потом окончил Промакадемию, стал крупным советским хозяйственником, ездил по каким-то своим хозяйственным делам в командировку в Америку, откуда привез шесть пижам и — невиданную тогда в наших краях редкость — холодильник.

И вот грянул 37-й год. И дом, в котором жил этот бывший буденновский конник, стал пустеть. Соседей брали по ночам — одного за другим. И он понял, что чаша сия не минет и его.

А он был довольно хорошо знаком с тогдашним генеральным прокурором СССР Андреем Януарьевичем Вышинским. И решил пойти к нему, спросить: нельзя ли, мол, чего-нибудь сделать, как-нибудь обезопасить себя от неизбежного ночного вторжения чекистов.

Вышинский сказал, что сделать ничего нельзя, поскольку у нас не Англия, и “нет таких крепостей...”. Но дал бывшему коннику хороший совет.

— Когда за вами придут, — сказал он, — потребуйте, чтобы вам показали ордер. И если там будет какая-нибудь — хоть самая пустяковая — ошибка, скажите, что никуда с ними не поедете, пока не придут с новым ордером.

И вот раздался ночью звонок в его квартиру, и ОНИ вошли.

Хозяин квартиры стоял за холодильником в одной из шести своих американских пижам. В правой его руке

был револьвер, а в левой — половая щетка на длинной палке. Взяв дорогих гостей “на мушку”, он протянул к ним щетку и велел, не приближаясь ни на шаг, положить на нее ордер.

Чекисты, усмехаясь, выполнили этот приказ.

Но скоро им стало не до смеха.

Внимательно изучив ордер, бывший буденновец нашел-таки в нем какую-то мелкую погрешность и потребовал, чтобы привезли новый.

Чекисты стали объяснять ему, что ордер — это, в сущности, пустая формальность, что, приехав на место, ошибку они тотчас же исправят или выпишут новый ордер. Но он тупо стоял на своем.

Что им было делать? Не открывать же стрельбу! И, скрипя зубами и отчаянно матерясь, они поехали за новым ордером.

И НЕ ВЕРНУЛИСЬ.

Время было горячее, надо было выполнять план. Взяли, наверно, вместо этого бывшего конника какого-то другого.

Так что совет Вышинского оказался хорош. Андрей Януарьевич знал, что советовал.

Пролетарский гуманизм

Что такое пролетарский гуманизм и чем он отличается от гуманизма буржуазного, очень хорошо объяснил поэт Алексей Сурков:

На нашем съезде получило все права гражданства одно слово, к которому мы еще недавно относились с недоверием или даже враждебностью. Слово это — гуманизм. Рожденное в замечательную эпоху, это слово было запакощено и засюсюкано тщедушными вырожденцами, ничтожными потомками великих отцов. Они подменили могучее его звучание — человечность — христианским сюсюканьем — человеколюбием.

Мы должны были и мы имели историческое право презирать и ненавидеть людей, произносивших это слово...

Некоторым товарищам гуманизм представляется в образе русоволосой девушки в белом платье, шагающей по солнечной, напоенной ароматом весеннего цветения земле...

Я хочу принять этот красивый образ, но не могу. Что-то восстает у меня внутри против него. Что-то заставляет рисовать себе образ нашего гуманизма другим, может быть, более грубым, но в своей грубости более прекрасным.

Я знал одного человека. Мы познакомились с ним в санатории. Познакомились и сдружились, потому что были людьми одной жизни. Этот человек однажды рассказал мне историю своего бытия...

Октябрь застал его, четырежды георгиевского кавалера, дезертира и полубольшевика, председателем волостного совета. Он отчуждал помещичьи земли, делил барское имущество... Он стал председателем уездной ЧК. Тринадцать лет провел он на работе в карательных органах республики, и когда некоторые приятели из “морально чистых” интеллигентов спрашивали его: “Неужели, когда ты посылал людей на расстрел, не просыпалось в тебе чувство гуманизма и ты ни разу не ставил себя на их место?” — он отвечал глухо и скупно:

“Я на их месте всю жизнь стоял. Когда мужик на поле выдирает лебеду, он не спрашивает ее — приятно ей это или нет...”

Образ этого человека заслоняет для меня метафорическую девушку, когда я думаю о гуманизме. Этот образ импонирует мне своей цельной мужественностью, ибо гуманизм класса, в свирепой борьбе добывающий людям право на подлинное человеческое существование, есть гуманизм мужественный.

Замечательную образную формулу этого гуманизма дал покойный Багрицкий в стихотворении “ТВС”.

...Век поджидает над мостовой,
Сосредоточен как часовой,
Иди и не бойся с ним рядом стать,

Твое одиночество веку подстать.
 Оглянешься, а вокруг — враги:
 Руку протянешь — и нет друзей;
 Но если он скажет: “Солги!” — солги!
 Но если он скажет: “Убей!” — убей!

Я счел нужным говорить на эту тему, потому что практика некоторых наших поэтов и писателей, в особенности молодых, заставляет несколько насторожиться. У нас по праву входят в широкий поэтический обиход понятия любовь, радость, гордость, составляющие содержание гуманизма. Но некоторые молодые (да и не молодые иногда) поэты как-то сторонкой обходят четвертую сторону гуманизма, выраженную в суровом и прекрасном понятии **НЕНАВИСТЬ**. (*Продолжительные аплодисменты.*)

(Речь А.А. Суркова на Первом всесоюзном съезде советских писателей)

Этот урок старшего товарища не прошел даром для молодых поэтов. Некоторыми из них он был очень даже хорошо усвоен:

Помню, какой-то советский поэт через много лет после войны сочинил такой опус на тему о социалистическом гуманизме: война, советские солдаты в окопах, впереди немцы, — тоже в окопах, между этими двумя позициями — минное поле, о котором немцы не знают. И вдруг на поле неизвестно откуда появляется маленькая девочка. Автор изображает ее самым трогательным образом. Маленькая, тоненькая, в белом платьице, с бантиками в косичках. Солдаты в ужасе. Нет, не только потому, что девочка сейчас подорвется на mine, а потому, что подорвавшись, она откроет врагу, что поле

заминировано. Положение трудное, но выход ясен. Социалистический гуманист-пулеметчик скашивает девочку очередью, и враг остается одураченным. Прошло много лет, поэт припомнил этот случай, подумал и написал, что если в его жизни еще раз случится что-то подобное... “Я знаю — я так же, я знаю — я снова / Не бритой щекой припаду к “дегтярю”.

(Владимир Войнович.

Четвертая сторона гуманизма)

Прочитав это стихотворение, Алексей Александрович Сурков, надо думать, был бы доволен. Он даже мог бы — по примеру классика — подарить его автору свой портрет с надписью: “Победителю ученику от побежденного учителя”.

Сын за отца не отвечает

В сталинские времена эта словесная формула была одной из главных. И как все другие основополагающие формулы, определяющие самые основы тогдашней нашей жизни, придумана и запущена в машину государственной пропаганды она была самим Сталиным.

Сейчас это кажется диким, но когда слова эти были произнесены, они казались нам верхом великодушия:

Сын — не ответчик за отца, —
Так он сказал однажды с места,
Прервав на миг дыханье съезда
В стенах кремлевского дворца.

И не вместились в старом зале,
Рванулись к тысячам сердец
Пять этих слов, что возвещали
Проклятью тяжкому конец.

Вам, из другого поколенья,
Едва ль постичь до глубины,

Что означало избавленье
От той предписанной вины.
От той графы в любой анкете...

(А. Твардовский. *Рабочие тетради.*
“Знамя”, 2000, № 9. С. 169)

О том, что сулила та графа в любой анкете не тысячам, а миллионам людей, затронутым “большими сталинскими чистками”, знает каждый, кто жил в то время. И “великодушная” сталинская формула (Твардовский не соврал) для них для всех действительно означала “избавленье от той предписанной вины”. И все, кого эти вдруг брошенные с места сталинские слова касались, кому они были адресованы, и в самом деле испытали тот восторг, то счастье, которое испытал и, спустя годы, выплеснул в этих своих стихотворных строчках Твардовский. (К нему-то это сталинское “избавленье от вины” имело самое прямое, самое непосредственное отношение.)

Что греха таить! Эта сталинская формула вполне устроила бы нас всех. Если бы она не была чистойшей воды лицемерием. Повторяя ее как заклятие, в глубине души все мы прекрасно знали, что при случае ответим не только за отца, но и за какого-нибудь двоюродного дядю, и за троюродную бабушку, и даже за то, что нам приснилось однажды в каком-нибудь странном и нелепом сне, который и сам Зигмунд Фрейд не исхитрился бы расшифровать.

Эту психологическую коллизию рассмотрел Илья Ильф в одном раннем своем рассказе:

Иногда мне снится, что я сын раввина. Меня охватывает испуг. Что же мне теперь делать, мне, сыну служителя одного из древнейших религиозных культов?

Как это случилось? Ведь мои предки не все были раввинами. Вот, например, прадед. Он был гробовщиком. Гробовщики считаются кустарями. Не кривя душой можно поведать комиссии по чистке, что я правнук кустаря.

— Да, да, — скажут в комиссии, — но это прадед. А отец? Чей вы сын?

Я сын раввина.

— Он уже не раввин, — говорю я жалобно. — Он уже снял...

Что он снял? Рясу? Нет, раввины не снимают рясы. Это священники снимают рясу. Что же он снял? Он что-то снял, он отрекся, он отмежевался от своего бородатого бога, с визгом и рёвом он порвал связь с божеством и отказал ему от дома.

Но я не могу точно объяснить, что снял мой отец, и мои объяснения признаются неудовлетворительными...

Я иду по фиолетовой снежной улице и шепчу сам себе: — И совершенно прав был товарищ Крохкий, когда... Скажи мне, с кем ты знаком, и я скажу тебе, кто ты... Яблочко от яблони недалеко падает... Совершенно прав был председатель комиссии товарищ Крохкий. Меня надо изжить. Действительно, давно пора.

Я поеду домой, к отцу, к раввину, который что-то снял. Я потребую от него объяснений. Будет крупный разговор...

В том-то вся и штука, что знаменитая сталинская формула была не только лицемерна. Она отражала самую суть тех исключительных обстоятельств, в которые нас загнали, в которых нам приходилось жить. Истинный смысл формулы заключался в том, что каждый должен был в любой момент быть готовым к тому, чтобы отречься от отца, от всех своих связей, от своего собст-

венного прошлого, и лишь тогда, став в каком-то смысле идеальным членом этого удивительного общества, он получит право надеяться, что общество, быть может, посмотрит сквозь пальцы на эти разорванные, но все же когда-то ведь существовавшие связи.

Мне рассказывали, что Зинаида Николаевна Пастернак (жена Бориса Леонидовича) с восторгом говорила, что ее дети больше всех людей на свете любят Сталина, а потом уже — ее, Гарика (первого ее мужа, Генриха Нейгауза), Борю. И ей совсем не казалось диким, и ничуть ее не оскорбляло, что в иерархии сердечных привязанностей ее маленьких сыновей Сталин безоговорочно занимает первое место, и только на втором и третьем идут родители.

Замечательное высказывание это говорит о многом. И свидетельствует оно отнюдь не только о некоторой, скажем так, умственной ограниченности его автора. Скорее наоборот: оно свидетельствует о том, что душа Зинаиды Николаевны была очень чутким барометром (или сейсмографом, уж не знаю, название какого прибора тут более уместно). Жена великого нашего поэта очень верно почувствовала (и сформулировала) основу основ сталинской системы ценностей.

Сталин, как известно, учился в духовной семинарии и, следовательно, хорошо знал известную формулу Христа, записанную в Евангелии от Матфея:

Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня... Сберегший душу свою потеряет её; а потерявший душу свою ради Меня сбережет её.

Я не берусь судить о том, какой смысл вкладывал в эти слова Спаситель (или записавший их евангелист), но

Сталин в эту свою претензию (а она у него безусловно была: тут, пожалуй, уместно вспомнить, что в газетах победоносного 45-го года Сталина неоднократно именовали Спасителем — с большой буквы) вкладывал смысл очень определенный. Он имел в виду, что любить его больше, чем отца и мать, недостаточно. Надо еще быть готовым предать отца и мать. Совершивший такое предательство “ради Него” не только не потеряет душу свою, но, напротив, сбережет ее:

Блудный сын возвращается домой. Блудный сын в толстовке и людоведском галстуке возвращается к отцу. Стуча каблуками, он вбегает по лестнице из вареного мрамора на четвертый этаж...

Сын не видел отца десять лет. Он забыл о предстоящем крупном разговоре и целует отца в усы, пахнущие порохом и селитрой.

Отец тревожно спрашивает:

— Тебе надо умыться? Пройди в ванную.

В ванной темно, как десять лет назад, когда вылетевшие стекла заменили листом фанеры. Ничего в отцовской квартире не изменилось за десять лет.

В темноте я подымаю руку кверху (там была полка и лежало мыло в эмалированной лоханочке), и находится мыло.

Зажмурив глаза, я могу пройти по всей квартире, не зацепившись за мебель. Память уберезет меня от столкновения со стулом или самоварным столиком. Закрыв глаза и лавируя, я могу пройти в столовую, взять налево и сказать:

— Я стою перед комодом. Он покрыт полотняной дорожкой. На нем зеркало, голубой фарфоровый подсвечник и фотография моего брата, которого в училище

звали Ямбо. Он был толстым мальчиком, а тогда толстых называли Ямбо.

Что касается самого Ямбо, то это был слон...

Отец стоит рядом со мной, поправляя пороховые усы...
Такого отца надо презирать. Но я чувствую, что люблю его...

Позор, я люблю раввина!

Сердце советского гражданина, гражданина, верящего в строительство социализма, трепещет от любви к раввину, к бывшему орудию культа. Как могло это произойти? Яблочко, яблочко, скажи мне, с кем ты знакомо, и я скажу, кто тебя съест...

И съели бы. Со всеми потрохами.

Да, дело шло о жизни смерти — не больше, не меньше. И тем не менее всё решилось сразу, в один миг: сын почувствовал, что у него неостанет сил отмежеваться от родного отца. Он только воскликнул с безнадежностью отчаяния:

— Зачем, зачем ты был раввином?

И тут (такое, увы, могло быть только во сне) всё вдруг разъяснилось самым счастливым образом.

— Я никогда не был раввином, — удивленно ответил отец. — Тебе это приснилось. Я бухгалтер, я герой труда...

Приснится же в самом деле такая чушь человеку!

Сон кончается мотоциклетными взрывами и пальбой. Я просыпаюсь радостный и возбужденный. Как хорошо быть любящим сыном, как приятно любить отца, если он бухгалтер, если он пролетарий умственного труда, а не раввин.

К сожалению, не всем советским гражданам, даже свято верящим в строительство социализма, в отцы достались

пролетарии умственного труда. Некоторым не повезло: их родители действительно были раввинами. Или попами. Или дьяконами. Или просто имели несчастье петь когда-то в церковном хоре. И с невезучими детьми этих недалёковидных родителей всё то, что с героем рассказа Ильфа случилось во сне, происходило наяву. Я уж не говорю о том, что и от пролетариев умственного — да и не только умственного — труда тоже приходилось отрекаться, если случалось им попасть в кровавую сталинскую мясорубку. А кто был от этого застрахован?



В начале 60-х мой друг Эмка Мандель (Наум Коржавин) познакомил меня с замечательной женщиной — Ольгой Львовной Слиозберг. Она была лет на двадцать нас старше, отбыла к тому времени свои семнадцать лет тюрьмы, лагеря и ссылки (там, в ссылке, в Караганде, они с Эмкой и подружились). Тюремные и лагерные ее рассказы произвели на меня тогда сильное впечатление. Особенно один из них.

В тюрьме она сблизилась с одной совсем простой, неграмотной женщиной, обвинявшейся, естественно, в троцкизме. И вот однажды эта женщина обратилась к ней за советом. Дошло до нее с воли письмо от дочери. Дочке исполнилось пятнадцать лет, и ей предстояло вступить в комсомол. И она просила мать, чтобы та написала ей: правда ли, что она троцкистка, что злоумышляла против нашей страны, против товарища Сталина. Если правда, она проклянет ее и вступит в комсомол. Если же мать честно напишет ей, что ни в чем не виновата, то вступать в комсомол она ни за что не станет.

Девочка признавалась, что ей, конечно, очень страшно думать, что при таком повороте она сразу станет изгоем. (Выражала она это, естественно, другими словами, но мысль была именно такая.) И все-таки, писала она матери, лучше бы мне узнать, что никакая ты не троцкистка, не враг народа.

Получив это письмо, мать девочки проревела всю ночь. А наутро попросила Ольгу Львовну написать дочери от ее имени, что все, в чем ее обвиняют, — правда. “Так прямо и напиши, — сказала она. — Вступай, доченька, с чистым сердцем вступай. У тебя перед комсомолом никакой вины нет, а за мать ты не ответчица. Сам товарищ Сталин сказал, что сын за отца не отвечает”.

Ольга Львовна изо всех сил старалась уговорить ее не возводить на себя напраслину, не признаваться в несуществующей вине. Но та твердо стояла на своем.

— Ей жить, — сказала она. — Легкое ли это дело — девчонке знать, что мать сидит ни за что? Нет, пусть уж лучше думает, что я троцкистка.

Знать, что мать сидит ни за что, девочке, конечно, было бы нелегко. Но намного ли легче было ей думать, что мать посадили за дело? Она ведь не лгала, когда написала в своем письме, что лучше бы все-таки оказалось, что мать никогда не была троцкисткой. Пусть уж лучше она сама окажется изгоем в этой стране, только бы не пришлось ей отречься от своей матери, предавать ее. Но если всё-таки окажется, что мать — троцкистка, что ее арестовали не зря... Тогда... Что ж! Тогда никакого другого выхода у нее уже не будет. Тогда, не раздумывая, она откажется от матери и останется со всей страной, с партией, с комсомолом, с товарищем Сталиным.

А Александр Трифонович Твардовский даже и колебаться не стал. Сразу отказался от родителей, когда их

выслали, хоть и твердо знал, что никаким кулаком его отец никогда не был. И — мало того! — убедил себя в том, что Тот, Главный его Отец, отправляя на медленную мученическую смерть с миллионами других ни в чем не повинных крестьян и его родителей, БЫЛ ПРАВ. Прав той самой своей “нелегкой временами, крутой и властной правотой”.

Как это ни ужасно, следует признать, что сталинская формула “Сын за отца не отвечает” вполне устроила бы нас, если бы с нами играли честно. Если бы декларируемое в ней великодушие было истинным, а не фальшивым. Мы не понимали тогда, что формула эта безнравственна в самом своем существе. Потому что на самом деле СЫН ЗА ОТЦА ОТВЕЧАЕТ. Только нравственный урод, недочеловек, ублюдок может искренно, от души стремиться к тому, чтобы НЕ ОТВЕЧАТЬ за своего отца. Нормальному человеку такое насилие над собой — не под силу.

ЦК и ЧК

Моего приятеля Камила Икрамова посадили очень рано. Ему, кажется, даже и шестнадцати еще не стукнуло. Причина ареста была проста: он был сыном Акмаля Икрамова — секретаря ЦК Узбекистана, расстрелянного вместе с Бухариным и Рыковым. По тюрьмам и лагерям Камил мыкался много лет, и мыкался бы всю жизнь, если бы не смерть Сталина и последовавшая за ней хрущевская оттепель. Много страшного довелось ему повидать и пережить за те годы. Но почти все его лагерные и тюремные рассказы (а рассказчик, надо сказать, он был блистательный) прямо-таки искрились юмором, и вообще тяготели скорее к жанру комическому.

Вот, например, такая история.

Довольно быстро сообразив, что никакие отрицания своей мнимой вины ему все равно не помогут, Камил почти сразу принял условия игры, предложенные ему следователем. А условия были такие. Следователь вызывал его для очередного допроса, отправлял конвоиров, после чего они с подследственным играли в шах-

маты. А к концу сеанса Камил без колебаний подписывал всю ту ерунду, которую его следователь излагал в заранее заготовленном протоколе.

Время от времени, прислушавшись к каким-то звукам, доносившимся из коридора, следователь, быстро смахнув шахматную доску и фигуры в ящик стола, начинал орать:

— Колись, гад! Колись, вражина!..

И — четырехэтажный мат.

Дверь отворялась и на пороге возникал какой-то чин, судя по всему, начальник.

Ширинка при этом у него всегда была расстегнута: очевидно, неподалеку от комнаты, где проходил допрос, был туалет, и, направляясь туда или возвращаясь оттуда, начальник Камилова следователя и осуществлял попутно свои начальственные, инспекторские функции.

— Что, не колетса? — спрашивал он. И поощрительно кидал на прощание: — Давай, давай, так его, падлу!.. Ничего, расколется! Куда он, сука, денется!

После чего удалялся, а следователь и подследственный возвращались к шахматам.

Но шахматы следователю вскоре надоедали. И тогда он требовал, чтобы Камил рассказал ему какой-нибудь анекдот.

Камил рассказывал.

Посмеявшись, следователь говорил:

— Хороший анекдот. Смешной. И не ловится... Но все-таки он тебя характеризует... А вот, послушай, я тебе расскажу...

Собственный его репертуар был крайне узок: он, как правило, сводился ко всякого рода непристойностям.

— Ну что? Ведь верно, смешной? — спрашивал он, рассказав очередной затасканный анекдот из цикла: муж, жена, любовник.

— Смешной, — соглашался Камил.

— И заметь, — удовлетворенно говорил следователь. — Не ловится, и никак меня не характеризует.

Это, — сообразил Камил, — была их профессиональная терминология. Может быть, даже был у них какой-нибудь спецкурс, какой-нибудь такой семинар или практические занятия, на которых их специально натаскивали, как различать и сортировать анекдоты по признаку: “ловится — не ловится”, “характеризует — не характеризует”, “не ловится, но — характеризует”.

В истории этой, как вы могли заметить, участвуют оба учреждения, названия которых фигурируют в заголовке этой главы. Но вспомнил я ее тут не поэтому, а в связи с таким — пришедшим мне на ум — анекдотом.

Еврей, приехавший из провинции, спрашивает у более насвистанного, столичного еврея:

— Что такое ЧК?

Тот отвечает:

— Центральный комитет.

— А ЦК?

— Церезвыцайная комиссия.

По терминологии героя Камиловой истории анекдот этот вроде не ловится. Разве что — характеризует. (Как-никак насмешкой тут затронуты два главных политических института советской партийно-государственной системы.)

Но на первый взгляд — вроде вполне аполитичный анекдот. Смеемся ведь мы тут не над ЦК или ЧК, а всего лишь над произношением одного из участников этого диалога. Ну, может быть, над его еврейским акцентом. Но это ведь тоже не возбранялось. (В иные периоды нашей истории даже поощрялось.)

На самом деле, однако, анекдот этот ловится. И еще как ловится!

Ведь в нем, помимо чисто фонетических проблем, с которыми следует обращаться к логопеду, ясно просматривается еще и другой смысл: довольно-таки прозрачный намек на то, что два эти учреждения (ЦК и ЧК) не просто родственные, а как бы даже взаимозаменяемые.

На самом деле это было не совсем так. У каждого из этих двух учреждений была своя роль в карательной советской системе, что нашло отражение в известном анекдоте из цикла “Вопросы и ответы армянского радио”:

Вопрос:

— Какая разница между ЦК и ЧК?

Ответ:

— В ЦК цыкают, а в ЧК чикают.

Ответ этот — при всем своем остроумии и даже известной точности — плох тем, что из него нельзя понять, которое из этих двух ведомств — главное.

Тут мне вспомнился знаменитый детский вопрос из старой повести Льва Кассиля: “Если кит на слона влезет, кто кого соберет?”

Все взрослые, к которым дети в той повести обращались с этим вопросом, затруднялись с ответом. Что же касается взаимоотношений ЦК и ЧК, то на первых порах существования советского государства особых затруднений тут не возникало: главным в этой иерархии был безусловно ЦК, а ЧК играла роль инструмента в руках правящей партии.

Затруднения начались примерно к середине 30-х годов.

В это время уже довольно трудно было понять, “кто кого соберет”:

РАДЕК. Мы окружены доносчиками со всех сторон, и пока мы уберем Сталина, он десять раз приберет нас к рукам! Ведь в его руках весь аппарат власти!

БУХАРИН. Вздор!.. Ягода с нами, а ГПУ — это всё!

РАДЕК. А со Сталиным — Ежов, который метит на место Ягоды!

БУХАРИН. Мало ли что метит. Руки коротки!

Во время последних реплик слева слышатся щелканье замка и шум отворяемой двери; одновременно же с последними словами Бухарина из передней входит Ягода.

РЫКОВ и ДРУГИЕ (обступая Ягodu). Ну, Генрих, не томи: говори начистоту, почему они сознались на суде и сами присудили себя к расстрелу?..

БУХАРИН. Что, вы их и вправду там пытаете, на Лубянке?..

ЯГОДА. Ох, братцы! Подождите, не галдите все разом! Дайте сперва очухаться!..

БУХАРИН. Нет, серьезно! Каким способом добиваются в ваших подвалах признания даже в том, в чем люди не виноваты?

РЫКОВ. Ясное дело — пытаются. Иначе не объяснишь!

ЯГОДА. Ах, товарищи, о каких пытках вы говорите? Смешно прямо слушать!.. Если человек, скажем, курит по сто папирос в день или (смотрит на Рыкова) равнодушен к алкоголю, то оставьте их на сутки без табаку и “Рыковки” и увидите, на что они будут способны! (Общий смех.)

БУХАРИН. Но что же тогда называть пытками, хотел бы я знать?

ЯГОДА. Ну, это особ статья. Не хочу разбазаривать профессиональные тайны. Работа чекиста — это тоже искусство. И нам, извиняюсь, как и настоящим артистам, дороги наши профессиональные тайны. КРОВНО дороги, можно сказать.

РАДЕК (*выразительно*). КРОВНО! (*Снова смех.*)

ЯГОДА (*шутливо*). Будьте покойнички...

(*Н. Евреинов. Шаги Немезиды.*

*Драматическая хроника в шести картинах
из партийной жизни СССР (1936–1938)*

Эту свою пьесу старый русский театровед и театральный деятель Николай Николаевич Евреинов написал в 1939 году. Жил он тогда в эмиграции, в Париже, и о том, что происходило в Советском Союзе, знал лишь по слухам да по газетам. И пьеса, по правде говоря, получилась у него довольно слабенькая. Много в ней было и всякой неправдоподобной чепухи. Но приведенный выше эпизод, как мне кажется, довольно верно отражает сложившиеся к тому времени взаимоотношения между ЦК и ЧК.

Заметьте: все действующие лица этой сцены — члены ЦК. И по партийной иерархии многие из них — выше Ягоды (хоть и он тоже — член высшего партийного ареопага). Но он разговаривает с ними как власть имеющий. А все их надежды на то, что они уцелеют и, Бог даст, даже возьмут верх над Сталиным, связаны не с теми местами, какие они занимают в партийной иерархии, а только лишь с тем, что с ними — он, председатель ГПУ Ягода. Потому что, как верно замечает один из них, “ГПУ — это всё”.

Грубая шутка Ягоды (“Будьте покойнички...”) оказалась пророческой.

Впрочем, покойником оказался и он тоже (проходил по тому же процессу, что Бухарин и Рыков, и, как и они, был приговорен к расстрелу). Но случилось это совсем не потому, что ЦК возобладал над ЧК.

Да, конечно, Сталин, скрутивший их всех, был генеральным секретарем ЦК, то есть в тогдашней партийной

иерархии занимал самую высшую должность. Но отнюдь не только эта его должность и даже, пожалуй, совсем не она обеспечила ему торжество над всеми его противниками.

Сталин, будучи абсолютным диктатором, одной рукой держал за горло партию, другой — чекистов. Микоян, выступая с докладом на 20-летнем юбилее ВЧК-ОГПУ-НКВД, заявил: “Каждый гражданин СССР — сотрудник НКВД”. В то время чекисты душили партию. А когда уничтожили большевиков “ленинского призыва”, Сталин, убрав Ежова, руками Берии разгромил старую гвардию чекистов.

Советское государство дня не могло просуществовать без карательных служб. Такова его природа. А коль так, то партии постоянно приходилось делиться властью с политической полицией. Так и шло по заведенному порядку. Шла непрерывная “нанайская борьба”. То партработников арестуют и расстреляют тысяч так сорок-пятьдесят. То работников спецслужб в том же примерно количестве поставят к стенке. Вослед этому быстренько соорудят какой-нибудь антисоветский блок. Понятно, его мифических “участников” тоже расстреляют. Но сразу же уничтожат очередного главу охраны. И так десятилетиями.

*(Александр Яковлев. Омут памяти.
М., 2000. С. 358).*

Автор книги, из которой взята эта цитата, много лет проработал в аппарате ЦК. О взаимоотношениях, сложившихся между “цекистами” и “чекистами”, стало быть, знает не понаслышке, а “изнутри”. И вот как он их описывает:

Немного огрубляя ситуацию, скажу так: мы в партийном аппарате постоянно надували щеки и делали вид, что решаем наиболее серьезные вопросы, возвышаемся над всеми другими аппаратами. Проводили разные съезды, другие политические спектакли и парады, заседания партийных бюро сверху донизу, а в действительности без КГБ ни одной важной проблемы не решалось.

В партийный и государственный аппарат можно было взять людей только после проверки в КГБ... Я убежден, что продвижение на самый верх, вплоть до Политбюро, шло при самом внимательном наблюдении со стороны КГБ и при его определяющей рекомендации. Загородные дачи членов Политбюро принадлежали КГБ, обслуживающий персонал, включая водителей, поваров, уборщиц, — штатные сотрудники КГБ. Военные разработки ученых проходили экспертизу в институтах КГБ. Не говоря уже о регулярном подслушивании верхушки партии и государства, вплоть, я убежден, до Генерального секретаря ЦК... Тайная полиция использовала любой случай, чтобы “приручить” того или иного “небожителя”. Арестовали жен Калинина и Молотова, посадили брата Кагановича. На других “сподвижников” хранились объемистые досье, которые можно было пустить в ход в любой момент. Когда, скажем, Брежнева избрали Первым секретарем ЦК, Аристов — другой секретарь, курировавший силовые структуры, принес ему объемистое досье на него, Брежнева. Они сожгли его в камине.

(Там же. С. 359)

Всё это дало А.Н. Яковлеву основания назвать главу своей книги, посвященную анализу той роли, которую

играли в устройстве советской политической системы ЦК и ЧК, одним коротким словом: “Двоевластие”.

Слово это и в самом деле объясняет тут многое. Но — не всё.



Самый тонкий и проницательный аналитик созданной Сталиным системы власти — А. Авторханов в одной из своих книг приводит такой эпизод биографии Сталина.

В семинарии, где учился юный Сосо Джугашвили, преподаватель истории задал ученикам написать сочинение о причинах падения Юлия Цезаря. Сочинение, представленное будущим вождем КПСС, поразило учителя своей обстоятельностью и глубиной. Там были даже какие-то схемы, таблицы, рисунки.

— Если я вас правильно понял, — сказал автору, прочитав это его сочинение, учитель, — главная ошибка Цезаря, по-вашему, состояла в том, что он не сумел создать достаточно сильный аппарат государственной власти?

— Нет, — возразил будущий Сталин. — Главная его ошибка состояла в том, что он не смог, а вернее, не догадался создать аппарат личной власти, стоящий НАД аппаратом государственной власти.

Если даже это и апокриф, он отражает самую суть созданной Сталиным системы власти.

Ленин созданную им систему, которую он с присущей ему откровенностью именовал диктатурой, характеризовал так:

Партией руководит ЦК... Оргбюро и Политбюро... Выходит, самая настоящая “олигархия”... Ни один важный

политический вопрос не решается ни одним государственным учреждением в нашей республике без руководящих указаний ЦК партии... Таков общий механизм пролетарской государственной власти, рассматриваемый “сверху” с точки зрения практики осуществления диктатуры... Вырастал этот механизм из маленьких, нелегальных подпольных кружков в течение 25 лет.

*(В.И. Ленин. Собр. соч. Т. 25.
С. 193–194)*

Что говорить, система была хороша. Но Сталин внес в нее кардинальные изменения, сильно ее улучшив.

...Уже в 1929 году реорганизация аппарата ЦК закончилась созданием в самом ЦК, как тогда говорили, “нелегального Кабинета Сталина”... Этот нелегальный “Кабинет Сталина” впоследствии получил официально-легальное наименование: “Секретариат т. Сталина” (не смешивать с “секретариатом ЦК”!)...

Будущий биограф Сталина, которому будут доступны документы сталинского “Кабинета”, с величайшим изумлением установит тот простейший факт, что не Политбюро, состоящее из старых большевиков, а технический кабинет, состоящий из молодых, внешне скромных, в партии и стране неизвестных, но способнейших исполнителей воли своего хозяина, направлял мировую и внутреннюю политику СССР...

“Кабинет” подбирал “кадры” партии, армии, государства... Но, чтобы назначать новых, надо было убирать старых... Об этом заботился “Особый сектор”, руководимый Поскребышевым...

В чем же были его функции? В официальной партийной литературе вы будете тщетно искать ответа на этот вопрос.

Неофициально же о нем было известно следующее. “Особый сектор” должен был быть органом надзора за верхушками партии, армии, правительства и, конечно, самого НКВД. Для этого у него была собственная агентурная сеть и специальный подсектор “персональных дел” на всех вельмож без различия ранга... “Особый сектор” освобождал места, которые немедленно заполнял “сектор кадров” сначала Ежова, а потом Маленкова. Удивительно ли после всего этого, что наркомы дрожали перед Товстухой и Поскребышевым, а члены ЦК ползали перед Ежовым и Маленковым. А эти лица числились в списке аппарата ЦК лишь “техническими сотрудниками” ЦК.

(А. Авторханов. Технология власти)

Этот аппарат личной власти, созданный Сталиным, играл главенствующую роль на протяжении всех тридцати лет сталинского правления. И именно людей из этого аппарата выдвигал он и на ведущие партийные и государственные посты. Кого — в ЦК, а кого — в ЧК. А иногда — то туда, то сюда. (Ежов, например, прежде чем возглавил ЧК, был секретарем ЦК.)

Сказав, что Ежов возглавил ЧК, я не оговорился, хотя в то время, когда он встал во главе этого ведомства, оно уже называлось иначе.

ВЧК (Всероссийская Чрезвычайная Комиссия), созданная в декабре 1917 года, просуществовала недолго. В 1922-м она была преобразована в Государственное Политическое Управление (ГПУ), которое с 1923 года стало называться Объединенным Государственным Управлением (ОГПУ). Потом названия этого ведомства менялись неоднократно (НКВД, НКГБ, МВД, МГБ, КГБ, ФСБ). Но как бы оно ни называлось, сотрудники его неизменно именовали себя (и именуют до сего дня) чекистами.

Кое-что эта смена названий все-таки означала (об этом — ниже). Но ни одна из названных аббревиатур не располагала к юмору.

Юмор тем не менее не иссякал.

Неунывающие советские граждане посмеивались даже над собственным страхом перед этим всемогущим ведомством.

При переезде из Питера в Москву ВЧК разместились в здании страхового общества “Россия”. В связи с этим родился такой анекдот:

— Скажите, какое учреждение помещается в этом доме?

— Раньше тут был ГОССТРАХ. А теперь — ГОСУЖАС.

Анекдоты сопровождали всю историю ведомства, и в них отразились если не все, то, во всяком случае, многие из многократно сменявшихся его названий.

Иногда в анекдотах, шутках и остротах более поздних времен вдруг всплывали прежние и даже самые давние названия “конторы”.

Вот, например, такая история.

В 60-е годы выходила у нас девятитомная “Литературная энциклопедия”. Авторы и редакторы этого издания любили пошутить. И некоторые из их шуток не только вылетали за пределы редакционных стен, но даже выплескивались на страницы выпускавшихся ими томов. И в томе восьмом, под статьей о широко известном в литературных кругах кагэбэшном провокаторе Эльсберге красовалась подпись — “Г.П. Уткин”, прозрачно намекавшая на кровную связь героя статьи с нашими славными органами.



А теперь — о причинах смены всех этих священных аббревиатур и о том, что стояло за этими переменами.

“НКВД” превратился в “МВД”, а “НКГБ” в “МГБ” по той простой причине, что все наркоматы у нас стали министерствами.

А вот с последующими изменениями дело обстояло несколько сложнее.

После смерти Сталина МВД и МГБ на короткое время слились в одно общее министерство под эгидой Лаврентия Берии. Но после того как Берия был разоблачен как “английский шпион” (на эту тему тоже были анекдоты, но тут невольно вспоминается замечательная фраза О. Мандельштама: “Зачем острить? Ведь и так всё смешно”), так вот, после ареста Берии слившееся воедино ведомство вновь распалось на две составляющие. Но бывшее Министерство государственной безопасности стало теперь называться Комитетом. И не просто Комитетом, а Комитетом при Совете министров СССР.

Это означало, что вновь образованное ведомство по статусу своему не вполне дотягивает до министерства. Тем самым партия как бы подтверждала свое обещание, что отныне и навсегда будет покончено не только с былыми злоупотреблениями, но и с тем ненормальным положением, при котором “органы” сумели встать над партией. Отныне эти самые “органы” будут находиться под постоянным контролем партии и государства. И вообще зря сажать никого не будут.

Не следует, однако, думать, что в годы хрущевского правления наши славные органы так-таки уж совсем бездействовали.

Вот анекдот — как раз на эту тему:

Встречается Хрущев со школьниками, и один школьник спрашивает:

— Никита Сергеевич, а правда, что вы запустили не только спутник в космос, но и сельское хозяйство?

— А кто тебе это сказал?

— Папа.

— Скажи своему папе, что мы не только кукурузу сажаем.

После снятия Хрущева слегка (все-таки) захиревший Комитет снова воспрял, что сразу же отразилось на его названии: он стал называться “Комитетом государственной безопасности СССР”. Без всякого “при”. И это было не просто сменой вывески. Изменение названия отражало повышение статуса Комитета: теперь он был уже как бы приравнен к министерству, что влекло за собой другие оклады для сотрудников и другие персональные машины для начальства (не “Волги”, а “Чайки”). И — главное — большую власть, совсем иные возможности.

А еще позже (уже при Андропове) “контора”, как ласково называли свое ведомство его сотрудники, обрела еще более высокий статус: не просто одного из министерств, пусть даже и наиглавнейших, как теперь у нас говорят, “силовых”, а совершенно особого, уникального государственного монстра, целой империи внутри империи.

Всесилие Комитета в эту, андроповскую пору его существования почти приблизилось к тому положению, какое “контора” занимала в стране в середине 30-х, когда она стояла над партией.

В те времена, когда один из самых близких к Сталину людей — Серго Орджоникидзе — пожаловался вождю, что ему грозят обыском, Хозяин со свойственным ему юмором ответил:

— Что ты нервничаешь? Это такое учреждение. Они и у меня могут обыск сделать.

Именно тогда, в те самые незабвенные 30-е, возник такой анекдот.

Военный парад на Красной площади. Маршал на коне объезжает и приветствует войска:

— Здравствуйте, товарищи артиллеристы!

— Здравия желаем, товарищ Маршал Советского Союза! — несется в ответ.

— Здравствуйте, товарищи краснофлотцы!

— Здра... жла... варищ... маршал... ветского... юза!

— Здравствуйте, товарищи танкисты!

— Здра... жла... арищ... аршал... етского.. юза!

Но вот маршал приближается к чекистам.

— Здравствуйте, товарищи чекисты! — так же бодро возглашает он.

Но вместо положенного “здра... жла...” из чекистских рядов раздается негромкое, многообещающее, зловещее:

— Здравствуйте, здравствуйте, товарищ маршал...

При всем всесилиии андроповского монстра в новые, андроповские времена не только маршалы, но и более мелкие партийные и государственные функционеры за свою жизнь и свободу могли не беспокоиться. И вообще “контора” не только на словах, но и на деле превратилась в инструмент, в орудие высших партийных органов власти.

Так, например, когда Василий Семенович Гроссман отнес рукопись своего крамольного романа “Жизнь и судьба” в журнал “Знамя” и главный редактор этого журнала Вадим Кожевников от прочитанного пришел в ужас, свой донос на писателя он отправил не в КГБ, а в ЦК. И уж там нашли соответствующее решение, после принятия которого на квартире у Василия Семеновича появились чекисты и арестовали — нет, не автора, а только его рукопись. (Это называлось — “уберечь писателя от ошибки”.)

Сама операция, впрочем, была проделана с чисто чекистской тщательностью: изъяли не только все экземпляры машинописи, но явились и к машинистке, перепечатававшей роман, и забрали у нее на всякий случай все сохранившиеся после перепечатки листки копировальной бумаги.

Не было уже и массовых посадок. И даже для того, чтобы выслать за границу какого-нибудь не слишком опасного писателя-диссидента (не Солженицына, а, допустим, Григория Свирского), требовалось специальное решение аж самого Политбюро.

Но по количеству стукачей на душу населения “контора”, пожалуй, уже могла сравниться с ежовскими и бериевскими временами.

Дело, однако, было не только в количестве стукачей.

Несмотря на все высказанные выше оговорки, в некоторых отношениях положение “конторы” и лично товарища Андропова было даже прочнее, чем во времена Ежова или Ягоды. Ведь аппарат личной власти вождя, стоящий над всеми институтами власти государственной, был уже упразднен. А с тех пор как Андропов стал членом Политбюро, не стало уже и угроз для ослабления ведомства, идущих от высших партийных инстанций.

Так между ЦК и ЧК утвердилась наконец полная гармония, завершившаяся избранием Ю.В. Андропова на пост Генерального секретаря ЦК.

Это обстоятельство тоже нашло свое отражение в устном народном творчестве.

Анекдот на эту тему был краток, но — выразителен:

— Члены Политбюро, проголосовавшие за товарища Андропова, могут опустить руки и отойти от стенки.

Лишенцы

Слово это просуществовало сравнительно недолго.

В 1936 году была принята новая (“сталинская”) Конституция, в которой было торжественно зафиксировано, что в стране уже не осталось никаких “классово чуждых элементов”, лишенных гражданских прав. И слова “лишенец”, “лишенка”, “лишенцы” умерли, выпали из живого языка. Встретиться с ними теперь можно было только в какой-нибудь книге, рисующей картины канувшего в прошлое нэповского быта. И там они выглядели смешными и вполне безобидными.

Вот, например, в “Записных книжках” И. Ильфа:

На почтамте оживление. “Дорогая тетя, с сегодняшнего дня я уже лишенец...”

За что меня лишать всего! Ведь я в детстве хотел быть вагоновожатым! Ах, зачем я пошел по линии частного капитала!”

Или у Зощенко:

Все они какие-то такие — или уже женатые, или уже имеют 2–3 семьи, или вообще лишенцы, что, конечно, тоже не сахар в семейной жизни.

Или в “Золотом теленке” Ильфа и Петрова:

Решительно вздохнув, Бендер втиснулся в толпу:
— Пардон, — говорил он, — еще пардон! Простите, мадам, это не вы потеряли на углу талон на повидло? Скорей бегите, он еще там лежит. Пропустите экспертов, вы, мужчины! Пусти, тебе говорят, лишенец!

В устах Остапа слово “лишенец” звучит не как политическое обвинение, а скорее как обидная бытовая кличка — вроде “поганец” или “паршивец”.

Впервые столкнувшись с этим словом именно вот в таком, “аполитичном” контексте, я ошибочно умозаключил, что употреблялось оно только на бытовом уровне. И был очень удивлен, узнав, что это был не только бытовой, расхожий, но и вполне официальный политический термин:

При составлении списков лишенцев избиркомы неправильно лишают прав трудящихся...

Проделки лишенцев...

Беднота помогает избиркомам выявлять лишенцев...

(Примеры эти, взятые из газеты “Известия” за 1927 год, приведены в книге А. Селищева “Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет. 1917–1926”.

М., 1928. С. 172)

Однако и в этом — официальном — контексте слова “лишенец”, “лишенцы” тоже звучат довольно-таки без-

обидно. Ну не подпустит тебя бдительный избирком к урнам для голосования — велика беда!

На самом деле, однако, такое благодушное отношение к положению лиц, лишенных гражданских прав, совсем не соответствовало реальному положению этих “классово чуждых элементов”. А было их в СССР в 1929 году — по вполне официальным данным — около трех миллионов.

Официально в категорию граждан, “лишенных прав, которые используются ими в ущерб социалистической революции” (в соответствии с принятой 10 июля 1918 года “Декларацией прав трудящегося и эксплуатируемого народа РСФСР”), зачислялись нэпманы, торговцы, служители культа, бывшие служащие и агенты царской полиции, бывшие помещики, “иные классово чуждые и эксплуататорские элементы”. Но критерий отбора, как явствует из последней формулировки, был весьма приблизительным, так что “лишенцем” практически мог оказаться кто угодно.

Мой отец был инженером с дореволюционным образованием, то есть принадлежал к части русской интеллигенции, в высшей степени подозрительной и неблагонадежной с советской точки зрения.

Первым результатом всего этого было то, что летом 1929 г. нас всех лишили избирательных прав. Мы стали “лишенцами”. Категория “лишенцев” среди советских граждан — это категория неполноценных граждан низшего разряда. Их положение в советском обществе во многом напоминало положение евреев в гитлеровской Германии. Государственная служба и профессия интеллигентного труда были для них закрыты. О высшем образовании не приходилось и мечтать. Лишенцы были первыми кандидатами в концлагеря и в тюрьмы. Кроме

того, во многих деталях повседневной жизни они постоянно чувствовали униженность своего общественного положения. Я помню, какое тяжелое впечатление на меня произвело то, что вскоре после лишения нас избирательных прав к нам на квартиру пришел монтер с телефонной станции и унес наш телефон. “Лишенцам телефон иметь не полагается”, — сказал он...

(Ю. Елагин. Укрощение искусств)

Это, конечно, был чистойшей воды произвол. Но — узаконенный.

Насчет телефона, может быть, еще можно было и поспорить. Но на вполне законном основании лишенцы не могли быть членами профсоюзов, состоять на советской службе, работать на фабриках и заводах; их дети не могли учиться в университетах и служить в Красной армии. Им было отказано в продовольственных карточках и государственном медицинском обслуживании. В Постановлении СНК об Исправительно-трудовых лагерях (1930) о лишенцах было сказано, что, “наряду с контрреволюционерами”, они “не могут занимать административно-хозяйственных должностей”.

Пожалуй, только в свете всех этих разъяснений можно по-настоящему понять и оценить весь драматизм коллизии, изображенной хотя бы вот в таком небольшом юмористическом рассказе:

Семья из пяти человек уже третий час сидела за заполнением анкеты... Вопросы анкеты были обычные: сколько лет, какого происхождения, чем занимался до Октябрьской революции и т.д.

— Вот чортова работка-то, прямо сил никаких нет, — сказал отец семейства, утерев толстую потную шею. —

Пять каких-то паршивых строчек, а потеешь над ними, будто воз везешь.

— На чем остановились? — спросила жена.

— На чем... все на том же, на происхождении. Забыл, что в прошлый раз писал, да и только...

— Кажется, ты писал — из духовного, — сказал старший сын.

— Нет, нет, адвокатского, я помню, — сказал младший.

— Такого не бывает. Не лезь, если ничего не понимаешь. Куда ты животом на стол забрался?..

— Что вы, батюшка, над чем трудитесь? — спросил, входя в комнату, сосед.

— Да вот, все то же...

— Вы уж очень церемонитесь. Тут смелей надо.

— Что значит — смелей? Дело не в смелости, а в том, что я забыл, какого я происхождения по прошлой анкете был. Комбинирую наугад, прямо, как в темноте. Напишешь — такого-то происхождения — с профессией как-то не сходится. Три листа испортил. Все хожу, новые листы прошу. Даже неловко.

— На происхождение больше всего обращайтесь внимание.

— Вот уж скоро три часа на него обращаем внимание... В одном листе написал было духовного, — боюсь. Потом почетным гражданином себя выставил, — тоже этот почет по нынешним временам ни к чему... О господи, когда же это дадут вздохнуть свободно!.. Видите ли, дед мой — благочинный, отец — землевладелец (очень мелкий), сам я — почетный дворянин...

— Потомственный...

— То бишь, потомственный. Стало быть, по правде-то, какого же я происхождения?

— Это всё ни к чорту не годится, — сказал сосед, наклонившись над столом и нахмурившись. — А тут вот

у вас как будто на одном листе написано: сын дворничихи и штукатура.

— Нет, это я так... начерно комбинировал...

— Несколько странная комбинация получилась, — сказал сосед, — почему именно дворничихи и штукатура? Напрашиваются не совсем красивые соображения.

— Да, это верно.

— Ну, пропусти это, а то только хуже голову забивать, — сказала жена.

— Ладно, делать нечего, пропустим. А вот тут того, еще лучше: следующий пункт спрашивает, чем я, видите ли, занимался до Октябрьской революции и чем содействовал ей. Извольте-ка придумать.

— Участвовал в процессиях, — сказал младший сын.

— Э, ерунда, в процессиях всякий осел может участвовать.

— Писал брошюры, — сказал старший.

— А где они?.. Чорт ее знает, сначала, знаете ли, смешно было, а теперь не до смеха: завтра последний день подавать, а тут еще ничего нет. Придется и этот пункт пока пропустить...

— Вот что, вы запомните раз навсегда правило: нужно как можно меньше отвечать на вопросы и больше прочеркивать. Держитесь пассивно, но не активно.

— Прекрасно. Но ведь вам предлагают отвечать на вопросы. Вот не угодно ли: какого я происхождения? Это что, активно или пассивно?.. А, Миша пришел, официальное лицо. Помогите, брат, замучили вы нас своими анкетами...

— Что у вас тут? — спросил, входя, полный человек в блузе, подпоясанный узеньким ремешком.

— Да вот очередное удовольствие, ребусы решаем.

Пришедший облокотился тоже на стол, подвинул к

себе листы и наморщил лоб. Все смотрели на него с надеждой и ожиданием.

— Что же это у тебя всё разное тут? — спросил он, с недоумением взглянув на хозяина.

Тот, покраснев и растерянно улыбнувшись, сказал:

— Да это мы тут так... комбинировали, чтобы посмотреть: что получится?

— Хороша комбинация: на одном листе — почетный гражданин, на другом — из духовных... Да ты на самом деле-то кто?

— Как — кто?

— Ну, происхождения какого?

— Гм... дед мой благочинный, отец землевладелец (очень мелкий), сам я...

— Ну, и пиши, что из духовных...

— А вдруг?

— Что “а вдруг”?..

— Ну, хорошо, я только сначала начерно...

Когда полный человек ушел, хозяин утер вспотевший лоб и молча посмотрел на соседа.

— Как он на меня посмотрел, я и забыл, что он мне шурин. О, Господи, всех боишься. Спасибо, я догадался сказать, что начерно...

И он, оглянувшись на дверь, разорвал лист и отнес клочки в печку. Потом, потянувшись, сказал:

— Нет, больше не могу, лучше завтра утром на свежую голову.

Выходившая куда-то жена подошла к столу и заглянула в анкету. Перед ней лежал чистый лист.

— Ничего не удалось написать?

— Только возраст.

*(Пантелеймон Романов.
Итальянская бухгалтерия)*

Автор смеется над незадачливым своим героем. И мы тоже смеемся с ним вместе.

Со стороны — оно, конечно, смешно. Но тем, кому эти анкеты приходилось заполнять, было не до юмора.

Пожалуй, только в одном художественном тексте того времени просвечивает истинный смысл этих анкетных вопросов:

Сукин сын Дантес!

Великосветский шкода.

Мы б его спросили:

— А ваши кто родители?

Чем вы занимались

до 17-го года? —

Только этого Дантеса бы и видели.

(Владимир Маяковский. Юбилейное)

Однако зловещий, угрожающий подтекст этого будничного и, казалось бы, такого невинного пункта советской анкеты здесь несколько затемнен тем, что, будучи обращен к убийце Пушкина, предстает перед нами как воплощение полного и абсолютного торжества справедливости.

Конечно, присутствует здесь и оттенок некоторой иронии по отношению к идее социальной справедливости, устанавливаемой такими способами. Но сама идея сомнению не подвергается. И не только по отношению к Дантесу.

С годами вопрос: “Чем вы занимались до семнадцатого года?” постепенно утратил свою актуальность: людей, которые до семнадцатого года были взрослыми, а следовательно, могли заниматься чем-то нехорошим, по естественному ходу вещей, в стране становилось все

меньше и меньше. Но свято место пусто не бывает. На смену этому пункту анкеты пришли другие: “Находились ли вы во время Великой Отечественной войны на оккупированной территории?” и т.п.

Что же касается второго вопроса, который Маяковский предлагал задать Дантесу (“Кто ваши родители?”), то он своей грозной силы не утратил и в более поздние времена.

В начале 50-х моя жена, устраиваясь на работу, в графе анкеты, где полагалось сообщить все, что надо, про ее отца, беспечно написала: “С 1937 года в семье не живет”.

Прочитав это, кадровичка побелела.

— Репрессирован? — испуганным шепотом спросила она.

— Да нет, — сказала жена. — Просто ушел от нас. Разошелся с мамой и завел другую семью. Я даже не знаю, жив ли он.

Облегченно вздохнув, кадровичка порвала использованный бланк анкеты, выдала жене другой, чистый, и сказала:

— Деточка! Немедленно узнайте про вашего отца всё, что полагается. Адрес, место работы. А если он умер, надо написать где, когда и на каком кладбище похоронен.

Ну а в еще более поздние времена вопрос: “Кто ваши родители?”, сохранив прежнее свое значение, обрел еще и новый, дополнительный смысл. Это случилось, когда *шестой* пункт анкеты (социальное происхождение) уже отошел на второй план, а на первый, постепенно заслонив все последующие и предыдущие, вышел *пятый*.

Драмы драматургов

Страх

Когда Осипа Эмильевича Мандельштама отправили в его первую ссылку (в Чердынь), за ним разрешили последовать его жене — Надежде Яковлевне. Об этом их путешествии она рассказала в первой книге своих воспоминаний. Было там, понятное дело, немало всякого рода физических неудобств и тягот. Но более всего поразило и травмировало их тогда не это:

В переполненных вагонах, на шумных вокзалах, на пароходе, словом, всюду никто не обращал внимания на такое экзотическое зрелище, как двое разнополых людей под конвоем трех солдат. Никто даже не обернулся и не посмотрел на нас. Привыкли они, что ли, к таким зрелищам или боялись “заразы”? Кто их знает, но думаю, что это было проявлением особой советской вежливости: раз ссылают, да еще под конвоем, видно, так и надо... Это равнодушие толпы очень огорчало О. М.: “Раньше они милостыню арестантам давали, а теперь даже не поглядят”. Он с ужасом говорил, что на глазах

такой толпы можно сделать что угодно — растерзать, убить арестанта, а зрители повернутся спиной.

(Надежда Мандельштам. Воспоминания)

Потрясло Мандельштама не просто равнодушие. С равнодушием и даже с враждебностью толпы арестант мог столкнуться и по дороге в царскую ссылку. Но тут было другое. Это было столкновение с монолитом, именуемым “морально-политическим единством советского народа”. Не зря, оказавшись в Чердыни, озабоченная тяжелым психическим состоянием Мандельштама, Надежда Яковлевна расспрашивала ссыльных эсеров и меньшевиков, хорошо помнивших царские тюрьмы: “А раньше тоже из тюрьмы выходили в таком виде?”

Ссыльные в один голос отвечали, что прежде арест почему-то так не действовал на психику заключенного.

Мандельштам с ужасом ощутил, что фактом ареста его обрели на полное, абсолютное отщепенчество.

В результате на свет явились хорошо известные стихи, донныне поражающие нас пронзительной, предельно искренней попыткой поэта, как выразилась по этому поводу его вдова, “примириться с действительностью”.

Она считала, что эти его настроения были последствием травматического психоза, который Мандельштам перенес вскоре после ареста. Болезнь была очень тяжелой, с бредом, галлюцинациями, с попыткой самоубийства.

Говоря о том, как быстро Мандельштам сумел преодолеть эту тяжелейшую психическую травму, Надежда Яковлевна замечает:

Единственное, что мне казалось остатком болезни, это возникавшее время от времени желание примириться с

действительностью и найти ей оправдания. Это происходило вспышками и сопровождалось нервным состоянием, словно в те минуты он находился под гипнозом. В такие минуты он говорил, что хочет быть со всеми и боится остаться вне революции, пропустить по близорукости то грандиозное, что совершается на наших глазах.

Можно, конечно, считать это болезнью. Но тогда придется признать, что болезнь эта была чрезвычайно широко распространена.

Вряд ли в ту пору можно было найти в стране интеллигента, который в той или иной форме не был бы тронут этой болезнью. Но рассмотреть подробно ее течение лучше не на рядовом, а на каком-нибудь особенно выразительном, особенно ярком примере.

Такая возможность у нас есть.



В 1960 году в Москве, в издательстве “Советский писатель” вышла книга Александра Афиногенова “Дневники и записные книжки”. Она включала в себя выбранные места из дневников и записных книжек драматурга начиная с 1927 года по 1941-й.

Это был, как принято выражаться в таких случаях, совершенно замечательный человеческий документ.

Поначалу, правда, читать этот человеческий документ было не слишком интересно.

На первых страницах там шли записи примерно такого рода:

Можно не замечать мелких мыслей и случайных предметов. Но, заметив их, нужно обязательно додумать до

конца мысль и оглядеть предмет. Не бросай ничего по середине. Разброс, путанье, потеря мыслей, измельчание чувств.

Мелькали и заметки чисто профессиональные: наброски приходящих автору в голову сюжетов. Размышления о читанных или увиденных на сцене пьесах классического репертуара. Другие замечания и соображения, открывающие дверь в так называемую “творческую лабораторию” драматурга.

Всё это было, по правде говоря, довольно-таки банально.

Интересное началось, когда записи подошли к тридцать седьмому году. Точнее — к короткому периоду в жизни автора: с мая 1937-го по февраль 1938-го.

Вдруг неожиданно в эти спокойные, несколько даже отвлеченные размышления на профессиональные темы ворвалась совершенно иная нота. И — совершенно иная тема:

Нет, все же наше поколение неблагодарно, оно не умеет ценить всех благ, данных ему Великой Революцией. Как часто забываем мы всё, от чего избавлены, как часто морщимся и ёжимся от мелких неудобств, чьей-то несправедливости, считаем, что живем плохо, а если бы мы представили себе прошлую жизнь, ее ужасы и безысходность, все наши капризы и недовольства рассеялись бы мгновенно, и мы бы краснели от стыда за свою эгоистическую забывчивость.

В дневниковых записях прежних лет Афиногенов тоже время от времени отдавал дань размышлениям на эту тему. О прежней, дореволюционной жизни и современ-

ной, новой, сегодняшней. Но там в основе этих размышлений лежало стремление понять эту новую жизнь, разобраться в ее сложностях и противоречиях, в стимулах поведения людей, в движущих ею механизмах:

Тема неравенства в социалистическом обществе.

Почему ты получаешь *большую* зарплату?..

Почему она любит тебя, а не меня?

В этих записях он тоже представал перед нами искренним и убежденным сторонником происшедших перемен, а нередко даже и человеком, искренне влюбленным в эту новую, “социалистическую” реальность. Но не было там и тени этого страстного, чуть ли даже не истерического биения себя в грудь.

А теперь это — на каждом шагу.

Буквально в каждой записи ощущается нетерпеливое желание автора не просто заявить (часто совершенно не к месту, ни к селу ни к городу) о своей лояльности, а с какой-то прямо-таки патологической страстью выкрикнуть: “Я люблю! Люблю эту новую жизнь! Я предан ей всем сердцем, всей душой, каждым атомом, каждой молекулой всего моего существа!”.

Как и раньше, он делится в дневнике впечатлениями о только что прочитанных книгах.

Но теперь только что прочитанная — или перечитанная заново — книга вызывает у него совсем иные мысли, чувства, ощущения:

Читал не отрываясь “Боги жаждут”. Читал давно когда-то, и тогда запомнилась только мансарда старика, его паяцы и потом — как судья воспользовался девушкой и обманул ее... А теперь прочел, захлебываясь, чтобы со

всей силой еще раз ощутить — великое милосердие нашей революции. Там было метание людей, зажатых тисками измены, смены классов, разных интересов. У нас — спокойное шествие вперед одного победившего класса и его партии...

Ну, положим, “Боги жаждут” — книга о революции, и аналогия с “нашей революцией” тут как бы сама собой напрашивается.

Но совершенно те же мысли и те же чувства рождает теперь в его душе и Гамсун, и “Жан Кристоф” Ромена Роллана:

Вот Жан Кристоф, одинокий и раздавленный, бродит по ярмарке на площади среди тучи завистливых карьеристов, лживых журналистов, продажных душ, денежных мешков — нигде не находит он участия... погибай — никому до тебя нет дела... И всё кругом — все эти кружки, салоны, кучки, журналы — всё покрыто плесенью продажности и разложения, — и, читая, не отрываясь, изредка вздохнешь полной грудью, оглянешься, подумаешь: это же, как сон, как кошмар, и какое счастье, что у нас нет ничего на это похожего, что мы, суровые и строгие, не очень-то щедрые на похвалы, — в тысячу раз лучше, и целомудреннее, и чище, и человечнее всех этих фарисеев волчьего мира, где только один закон — угнетения сильным слабого...

Фразочка о “наших людях”, суровых, строгих и не очень щедрых на похвалы, явно намекает на то, что автору дневника, как и герою Ромена Роллана, тоже иногда приходилось не сладко, что и ему случалось страдать от одиночества, не находить участия... Но разве можно сравни-

вать “их нравы”, где *человек человеку волк*, с нашими, где человек *человеку друг, товарищ и брат!*

Это, конечно, утешает. Но, как видно, не до конца. И так и не сумев утешиться этим нехитрым рассуждением, он всё больше и больше себя накачивает и в конце концов из крохотной искры этого слабенького самоутешения раздувает пламя уже самой настоящей мазохистской истерики:

Те, кто дали нам теперешнюю полноводную счастливую жизнь, — те сами хорошо испытали, что значит жизнь прошлая. Нам же она досталась только по воспоминаниям. И только когда читаешь такое вот воспоминание из хорошей книги, глаза наливаются слезами, сердце переполняется благодарностью к тем, кто, несмотря ни на какие препятствия, протесты, крики и измены, — ведет нас по этой дороге настоящей и замечательной жизни...

Таких записей здесь так много, и все они так упорно бьют в одну точку, что поневоле — в особенности, по контрасту с записями предыдущих лет — начинаешь ощущать за всем этим какую-то странность.

Собственно, ничего такого уж особенно странного тут, пожалуй, и не было бы, если бы не одно обстоятельство. Странность состояла в том, что за семь лет до описываемых событий, а именно в 1930 году, драматург Александр Афиногенов написал самую знаменитую свою пьесу — “Страх”.



Совсем недавно я прочел (в “Аргументах и фактах”) интервью с одним из старейших наших театральных дея-

телей — Борисом Гавриловичем Голубовским. Журналистка, расспрашивавшая его о самых заметных событиях театральной жизни 30-х годов, между прочим, задала ему такой вопрос:

— Советское искусство было сплошь верноподданническим?

— Совсем нет! — живо отреагировал старый режиссер. — Была, например, пьеса Афиногенова “Страх”...

Между тем, если исходить из драматургического конфликта, лежащего в основе этой старой афиногеновской пьесы, из логики ее сюжета, пьеса эта тоже была вполне верноподданнической.

Некий профессор Бородин, научный руководитель Института физиологических стимулов, занят разработкой какой-то своей замороженной теории. Он отнюдь не враг советской власти, он просто заблуждается. Но эти его заблуждения используют враги. Кончается дело тем, что профессора арестовывают. Он попадает в НКВД. Но мудрые, всё понимающие чекисты устраивают ему очную ставку с предавшими его учениками. Профессор прозревает и, поняв, к чему могут привести (отчасти даже уже привели) его научные заблуждения, отрекается от своих ложных теорий. Он даже отказывается идти на пенсию. Он будет с новыми силами, с удвоенной энергией трудиться на благо нашей родной советской власти и на страх ее врагам.

Почему же, в таком случае, Николай Гаврилович Голубовский выделил эту пьесу из бесконечного потока верноподданнических и даже решительно ее им противопоставил? Может быть, такое впечатление на него произвела не сама пьеса, а поставленный на ее основе спектакль? Скажем, исполнение роли профессора Бородина каким-нибудь выдающимся тогдашним актером,

который привнес в эту роль что-то такое, чего в пьесе вовсе даже и не было?

Да, пожалуй, что так. Весь ход воспоминаний Голубовского это предположение вроде бы подтверждает. Он рассказывает о спектакле Ленинградского театра драмы, где профессора Бородина играл замечательный артист Певцов. (Несколькими годами позже его на всю страну прославила блистательно сыгранная им роль белогвардейского полковника в “Чапаеве”.)

Вспоминая, а отчасти даже и анализируя свое давнее зрительское впечатление, Голубовский сказал, что Певцов в той сцене — и в этом как раз и состояла сила его актерского дара — не только заставил каждого зрителя проникнуться сознанием того страха, под давлением которого жила страна, но и *“заставлял каждого переводить этот страх на себя”*.

Да, роль актера тут, видно, и впрямь была велика. Но и драматург тоже кое-что сделал для того, чтобы эта его пьеса впечаталась в сознание современника как противостоящая мутному потоку угодливых, сервильных, верноподданнических пьес и спектаклей того времени.

“Что сделалось с людьми? — восклицает профессор Бородин уже в первой картине. — Профессоров сажают в тюрьму, аспиранты лезут на кафедры, таланты гибнут от выдвигенцев... Сыновья отказываются от матерей и скрывают прошлое, дочери обвиняют отцов...”

Предполагалось, конечно, что реплики, подобные этой, характеризуют не столько советскую действительность, сколько растерянность и идейную близорукость “зablуждающегося” профессора Бородина. Но согласно неписаным (а позже уже и писаным, четко сформулированным) законам советской драматургии вкладывать

такие суждения не полагалось даже в уста заведомо отрицательных персонажей. Это называлось — “предоставлять трибуну врагу”. Афиногенов же мало того что нарушил это жесткое, железное правило. Мало того что “предоставил трибуну врагу” с неслыханной по тем временам щедростью. Откровениями своего “заблуждающегося” профессора он попал в самый нерв, в главную болевую точку. И это уже была не пара-другая случайных (хотя и очень сильных) реплик. Это была кульминация всей драмы.

Профессор Бородин делает доклад, в котором подводит итог многолетним своим наблюдениям, делится с аудиторией (а тем самыми с зрителями) главным своим научным открытием:

БОРОДИН. Мы провели объективное обследование нескольких сотен индивидуумов различных общественных прослоек. Я не буду рассказывать о путях и методах этого обследования ... Скажу только, что общим стимулом поведения восьмидесяти процентов всех обследованных является страх.

ГОЛОС. Что?

БОРОДИН. Страх... Восемьдесят процентов всех обследованных живут под вечным страхом окрика или потери социальной опоры. Молочница боится конфискации коровы, крестьянин — насильственной коллективизации, советский работник — непрерывных чисток, партийный работник боится обвинений в уклоне, научный работник — обвинения в идеализме, работник техники — обвинения во вредительстве. Мы живем в эпоху великого страха. Страх заставляет талантливых интеллигентов отрекаться от матерей, подделывать социальное происхождение... Страх ходит за человеком... никто

ничего не делает без окрика, без занесения на черную доску, без угрозы посадить или выслать. Кролик, который увидел удава, не в состоянии двинуться с места — его мускулы оцепенели, он покорно ждет, пока удавные кольца сожмут и раздавят его. Мы все кролики...

Заключая свой рассказ о спектакле Ленинградского театра драмы с Певцовым в главной роли, Николай Голубовский поделился еще одним воспоминанием:

Я потом спрашивал у режиссера-постановщика Петрова:
— Вы понимали тогда, что вы подняли?

Петров отвечал:

— Понимал бы — не ставил бы.

Может, оно и так. Но автор пьесы, сочинивший этот монолог профессора Бородина, правду которого все сидящие в зале чувствовали кожей, кое-что, наверно, всё-таки понимал. И вот в этом-то как раз и состоит главная странность: чтобы у человека, сумевшего в 1930 году поставить происходившему в стране этот поразительный по своей точности диагноз, в сентябре 1937 года, в разгар “ежовщины”, в самый пик сталинского террора, когда только что был вынесен и приведен в исполнение расстрельный приговор Каменеву и Зиновьеву и их однодельцам, роман Анатоля Франса “Боги жаждут” не вызвал никаких других мыслей, кроме мысли о “великом милосердии нашей революции”?

Нет, тут что-то не так.

Окончательно я укрепился в предположении, что тут что-то не так, дойдя до записи, помеченной двенадцатым декабря 1938 года.

Эту дату я хорошо помнил.

В тот день состоялись первые выборы в Верховный Совет СССР, проходившие по новой, недавно принятой сталинской Конституции. Родители взяли меня с собой. Обставлено все было очень торжественно. Играл духовой оркестр. Пол на избирательном участке устилали ковровые дорожки. Всюду цветы, много цветов. На стенах — транспаранты, лозунги: “Толосуйте за блок коммунистов и беспартийных!” Афиши с портретами кандидатов в депутаты.

Все было как на первое мая или седьмое ноября — главные наши праздники. И лица у людей были праздничные.

Это потом, позже вся эта предвыборная и выборная канитель стала рутинной тошниловкой. В 60-м, когда мы взяли с собой на избирательный участок нашего пятилетнего сына (не с кем было его оставить), он спросил у меня, куда мы идем. Я объяснил, что на выборы. Он спросил, кого мы будем выбирать. Я, кивнув на плакатик, где красовалась упитанная будка нашего кандидата, сказал:

— Вот этого дядю.

— А вы можете выбрать кого-нибудь другого? — спросил он.

Не вдаваясь в сложные рассуждения об оригинальной советской избирательной системе, я коротко ответил, что нет, не можем. И тогда мой ребенок, точь-в-точь как мальчик из андерсеновской сказки, задал следующий, безукоризненно логичный вопрос:

— Почему же тогда это называется “выборы”?

Мне в мои одиннадцать (заметьте, не пять, а одиннадцать!) лет этот простой вопрос в голову не пришел. Я был охвачен радостным праздничным возбуждением. Не забывайте, все это было *впервые*. Не только в моей жизни, а вообще впервые — первые демократические советские

выборы, равные, без всяких там лишенцев, а главное — тайные.

Это поразило меня больше всего.

Не слово (его я слышал и раньше), даже не понятие, а его материальная реализация: *кабины*. Роскошные, занавешенные бархатными порттьерами кабины, куда каждый избиратель мог уединиться, чтобы — как это гарантировала ему самая свободная в мире сталинская Конституция — в полной тайне исполнить свой гражданский долг: проголосовать за блок коммунистов и беспартийных. Или — против.

Но кто же станет голосовать против? Неужели такие найдутся?

А если не найдутся, так зачем же тогда эти кабины?

Я недолго мучился над этой загадкой. Мне сразу пришло в голову, что кабины эти устроены *нарочно*. Для того чтобы выявить не только всех голосующих против, но даже и колеблющихся, сомневающих.

Я даже подумал, что там, в этих кабинах есть какие-то специальные устройства, регистрирующие всех этих скрытых и даже потенциальных врагов советской власти. Может быть, фотоаппараты, запечатлевающие их лица. Или другие какие-нибудь приборы, благодаря которым их можно будет потом опознать — по почерку или по отпечаткам пальцев.

А если даже никаких таких приборов и аппаратов там нет, то за каждым, кто осмелится войти в такую кабину (у настоящего советского человека такая потребность не может даже и возникнуть!), наверняка будет установлена слежка. И всех их потом арестуют.

Ей-богу, я не вру. Разве только чуть упрощаю: ход моих мыслей был, может быть, не так последователен и логичен, как в этом сегодняшнем, довольно-таки неуклю-

жем моем изложении. Но самая суть моей реакции на эти поразившие мое воображение кабины была именно такова.

Впечатления Александра Николаевича Афиногенова, если верить его дневниковой записи, помеченной той знаменательной датой, сильно отличались от тех моих детских мыслей и переживаний:

Пришло и прошло это знаменательное число. С утра уже в самом воздухе было что-то праздничное, особое, нежное... Мы пошли голосовать в полдень... В самом участке (помещается в школе) — тишина, много народа... Народ толпится, не хочет уходить, уж очень скоро проходит вся процедура. За столом регистраторы отмечают прибывших, выдают по конверту и два бюллетеня — белый и голубой.

В стороне — другой стол, покрытый красным, на нем литература, цветы...

Из этой первой комнаты — ход в другую, где отделены пять-шесть кабинок. Там распорядительница — молодая девушка, направляет в свободную кабинку, а в кабинке — крохотный столик, на нем трогательный горшок цветов, привезенных из города, красный карандаш, если хочешь вычеркнуть фамилию. И действительно, не хочется уходить, хочется продлить процедуру голосования, с кем-то поделиться мыслями, задержаться, порасспросить. У выхода из комнаты с кабинками — урна. Деревянный ящик, опечатанный сургучом...

Старушка в полушалке, встречая другую, кричит ей через улицу: “Ну как, причастилась?”

И действительно, в тишине комнаты с кабинками, в процедуре опускания конверта есть что-то торжественное. Почти как причастие, для этих самых старушек.

Им бы еще ладаном покурить для вящего благолепия — и совсем тогда как в церкви.

Едем в Москву. Там — полное ощущение праздника. Действительно, как первый день пасхи по детским воспоминаниям, когда народ высыпал на улицы и шел не торопясь, делясь впечатлениями, здороваясь, останавливаясь...

Обычная суетливая московская толпа шла сегодня неторопливо, без портфелей и сумок. Около некоторых домов стояли кучки — это участковые избирательные комиссии — туда шли и подъезжали машины, повитые лентами, — это привозили пожилых избирателей. Говорят, к больным приезжали на дом и давали им возможность голосовать, не сходя с постели.

Лица улыбающиеся, добрые, в воздухе разлито приветствие и торжество. Рупора передают музыку, флаги полщутся в морозном, тихом воздухе, портреты кандидатов на каждом углу.

Великий день. Его значение сейчас еще совсем не оценено. Только на расстоянии лет будет он выделяться все ярче и ярче как дата первого голосования по новой конституции.

На расстоянии лет — не только сейчас, но и три десятилетия тому назад, а для многих и раньше — во всем своем комическом безобразии предстало перед нами это очевидное надругательство над самим понятием “выборы”. Появились разные анекдоты на эту тему. Например, такой. Первая модель советских выборов описана еще в Библии: сотворив Еву, Бог подводит ее к Адаму и говорит: “Вот, выбирай себе жену!”

Но это все — “на расстоянии лет”. А тогда? Не тридцать, а шестьдесят лет тому назад?

Может быть, современникам этого “великого события” и в самом деле не так легко, как потомкам (моему пятилетнему сыну, например, задавшему мне свой невинный детский вопрос: “Почему же это называется «выборы»?”), было додуматься до этой простой истины?

Я готов был бы с этим согласиться, если бы сам не был современником. И если бы мне, одиннадцатилетнему, уже тогда всё это ни виделось совсем не так, как Александру Николаевичу Афиногенову.

Я был сыном своего времени, и тогдашние детские мои мысли были, конечно, чудовищны. Но при всей их чудовищности они были все-таки ближе — гораздо ближе! — к пониманию истинного положения дел, чем те мысли и чувства, которые запечатлел в тот день в своем дневнике Александр Афиногенов.

Ведь что ни говори, а это мое предположение насчет истинного назначения кабин свидетельствует, что я гораздо лучше, чем он, знал, в каком царстве-государстве живу. Знал, что верить в ПРОСТОДУШИЕ этой затеи с кбинами ни в коем случае нельзя. Нельзя даже верить, что это — просто-напросто показуха. Нет, не показуха, не фальшивое свидетельство, наглядно удостоверяющее действие “самой демократичной в мире” сталинской Конституции, а именно — ловушка, КАПКАН. Пусть даже поставленный с благородной, необходимой государству целью, но — КАПКАН.

Так что же это получается? Выходит, что я, одиннадцатилетний, в 1938 году был умнее, ну не умнее, скажем так: проницательнее — писателя Афиногенова?

Помня о сказке Андерсена, следует признать, что даже и такое предположение не было бы таким уж невероятным. Если бы...

Если бы, как уже было сказано, не то обстоятельство, что писатель Афиногенов за восемь лет до того знаменательного дня написал пьесу “Страх”. Стало быть, уже тогда, в тридцатом, увидел, что король — гол. В тридцатом, значит, видел, а в 38-м перестал видеть?

Всё это представлялось мне настолько невероятным, что у меня даже закралась мысль, что эта запись в дневнике была сделана Афиногеновым нарочно. Что она, как, впрочем, и все другие, говорящие о его верности идеалам и преданности строю, предназначалась для чужих глаз. Говоря проще, что всё это писалось в расчете на то, что если его, не дай Бог, арестуют, или — более мягкий вариант — сделают у него обыск, и его дневник попадет КУДА НАДО, все эти очень личные, интимные, как бы вырвавшиеся из самого его сердца записи станут самым верным, самым надежным свидетельством его политической благонамеренности.

Ничего фантастического в этом моем предположении нет. Такие случаи бывали.

Да и сам Афиногенов довольно прозрачно намекает на такую возможность.



В 1993 году в журнале “Современная драматургия” (№ 1, 2, 3) появилась новая публикация дневников А. Афиногенова. (Она была озаглавлена: “Дневник 1937 года”.) Это были записи, не вошедшие (вряд ли надо объяснять, по какой причине) в книгу, изданную “Советским писателем” в годы робкой хрущевской оттепели.

По той книге о том, что, делая эти свои записи, Афиногенов со дня на день ждал ареста, можно было лишь догадываться. Конечно, основания для таких до-

гадок были, и немалые. Довольно уже того, что дело происходило в 37-м году: кто не вслушивался тогда с замиранием сердца в любой шорох на лестнице, не опасался, что вот-вот и за ним придут. А у Афиногенова для таких опасений были еще и дополнительные основания: его тогда исключили из партии, а это в те времена было уже почти несомненным предвестием ареста. И все-таки — *почти*. Все-таки могла в его смятенной душе тлеть надежда — пусть крохотная: авось пронесет!

По записям, появившимся тридцать с лишним лет спустя на страницах “Современной драматургии”, видно, что никаких таких надежд у него тогда не было. Не могло быть.

Всё вокруг твердило ему об этом, подтверждало, что нет, не пронесет, что арест неотвратим, неизбежен:

Отпадение людей. Пустое пространство вокруг. Всё напрыглось до предела. Молчит телефон. Никто не решается снять трубку и позвонить, потому что вдруг, да “уже”...

Вчера вечером позвонил Берсенев. Я не узнал его голоса. Испуганный, придушенный, торопливый... Сразу понял картину. Мучила совесть человека — как не позвонить тому, с кем был знаком, кто помогал в беде, утешал... но трусил отчаянно и всё откладывал, всё придумывал себе оправдания. Потом все-таки снял трубку, она жгла, голос сорвался, он бормотал что-то невнятное, ему хотелось скорей положить трубку, он ведь выполнил свой долг, позвонил, чего же тот еще тянет, разговаривает, спрашивает, а телефон ведь наверняка включен, кто-то подслушивает, господи, какая мука... Да-да, увидимся, на этих днях, как-нибудь, через несколько дней... Ну до свидания, до свидания... Фу, наконец-то

можно вздохнуть и считать себя свободным от обязательств.

Так отпадают люди, так обнаруживаются нити связей, так распадается в мире все, и человек остается один.

О том, что это самое “уже” обязательно случится, знали не только близкие, не только отвернувшиеся от него друзья, предавшие, растоптавшие его товарищи по партии (Фадеев, Ставский). Дело было громкое, о нем писали газеты, и совсем чужие, незнакомые ему люди на всех перекрестках шептались, склоняя его имя, и ему то и дело случалось слышать этот испуганный, нервный шепоток:

В поезде двое военных. Один другому — громким шепотом: “Да-с, этот японский шпион Авербах уже расстрелян, его помощник Киршон — тоже, Ясенский остался в живых, его сослали на десять лет, а Афиногенова посадили, но дела еще не разбирали...”

Увидели, что прислушиваюсь, и, толкнув друг друга, перешли на другое.

В нотариальной конторе девушка со светлыми волосами, присмотревшись к его подписи, которую нужно было заверить, вдруг спросила: “А вы тот самый, о котором писали?” Да, тот самый. Тогда девушка вышла к нотариусу, и он пошел за ней. Нотариус, старый, желчный, плохо бритый, посмотрел на него и спросил просто: “А НКВД вас не беспокоит? Нет... Ну, тогда, пожалуй, можно и заверить”.

В том, что это неотвратимое “уже” обязательно наступит, что НКВД непременно его побеспокоит, что вот-вот настает день и за ним придут, он уже не сомневается.

Но еще надеется, что даже и в этом случае все еще как-нибудь обойдется — справедливость восторжествует:

...конечно же, должна восторжествовать правда. И не через десять лет, а скоро, через два-три года... Ведь у нас же другая жизнь и другие требования к людям, ведь у нас же, несмотря на все искривления и тяжести, действительно единственная в мире и справедливая страна и власть.

Да, самая справедливая и единственная...

Почему я говорю это именно сейчас, когда, казалось бы, должен вопить о несправедливости и думать о несовершенстве всей системы? Да потому, что кто-то там, наверху, видит всё... и знает, что эти мухи и липкая воющая грязь клеветы, и издевательские слова, и всё остальное — что это все нарост, а на деле я действительно невиновен... Поэтому меня и не трогают, поэтому я и живу свободным, пусть исключенным и измордованным, но свободным... а это главное! Ибо если я свободен, у меня есть силы и пути — восстановить правду о самом себе, и я её, конечно, восстановлю...

Но допустим даже, что меня взяли. Вот так, пришли ночью, вежливо постучались и сказали: “Пойдемте, гражданин”. Допустим, что меня вызвали из камеры на допрос, а следователь ведь тоже человек, и он читает газеты и может находиться под впечатлением страшных этих слов — допустим всё это... И всё же будет день, когда меня, небритого и побледневшего от тюремного воздуха, следователь позовет к себе в последний раз. Это будет солнечным днем, необычным и весёлым. Он пожмет мне руку и скажет: “Вы должны понять, товарищ, что нам приходится иногда прибегать к профилактике — мы взяли вас, естественно, подозревая нечто

большее за теми словами, которые были напущены в газетах. Оказалось, при самом строгом нашем к вам отношении, что и десятой доли правды в этих словах нет. Вы свободны. Имя ваше восстановлено. Идите и работайте". И двери в жизнь снова отворятся для меня...

Мечты! Мечты!

Конечно, он знает, что нет у него никакой вины. Знает, что "дело", которое ему шьют, не стоит и выеденного яйца. И в иные минуты его охватывает ярость от всех этих обрушившихся на него нелепых, лживых, лицемерных обвинений:

За что меня смешали с грязью и спустили с лестницы? За что меня еще будут мотать и мучить, спрашивать и не верить, требовать правды, хотя большей правды, чем я уже сказал им, вообще нет в мире! За что всё это? Только за то, что я был несколько лет знаком с Ягодой. И считал это знакомство честью для себя и равнялся по людям, которых видел там, и был совершенно уверен, что уж там, в доме Ягоды, не может быть никого, кто подвел бы политически или как-нибудь еще! Ведь там принимались только самые проверенные, самые близкие и все самые знатные и большие люди... Среди них, у них учился я преодолевать свое интеллигентское отношение к людям остальным... Многое мне не нравилось, но ведь это же были стражи государственной безопасности!

А кто, кто отказался бы от чести быть принятым у Ягоды? Фарисеи и лжецы все те, кто кричит теперь — распнись, кто смеется надо мной, над моими искренними сомнениями и словами. Им всё равно, они смеются и злорадствуют, они выискивают новые и но-

вые подробности, несуществующие и грязные — они уже видят меня втоптаным в землю и мёртвым и рады этому, а я спрашиваю себя всё чаще: за что? И не нахожу ответа. Неужели у нас можно судить человека и уничтожать его за то, что он не знал истинной сути народного комиссара внутренних дел, грозы всех чекистов, человека, который знал всё про всех? Неужели поэтому теперь надо бить и бичевать себя? Несправедливо и тысячу раз неверно!

Но тут же этот всплеск ярости сменяется совсем иными мыслями, подозрениями, догадками:

А может быть, я — жертва какого-то дьявольского заговора, который ставит себе целью истребить талантливых советских художников? Может быть, кто-то сейчас радуется и потирает руки и подталкивает на дальнейший размол всех и вся — скорей, скорей, кончайте с ним, его пьесы слишком долго агитировали за коммунизм, теперь будет сброшен он, с ним его пьесы... всё может быть, и заговор растёт, от него никто не может уйти, он, как масляное пятно, пачкает всех и всех затягивает, как болото... Я уже на дне, вверху гудит жизнь, а у меня голова гудит от тяжести воды надо мной, кто-то в фашистской свастике спихнул меня на дно и теперь радуется, да-да...

В глубине души он, конечно, знает, что всё это ерунда. В конце концов, он же признал себя виновным. И даже *сам голосовал за свое исключение из партии:*

Потом проголосовали. Ставский сказал: “Переходим к другим делам”. Я встал и вышел в мертвой тишине, не-

ловкий от случившегося, потому что не один, наверное, думал о несправедливости сделанного, но вместе со всеми голосовал за исключение, ибо так надо. Почему надо? Трудно сказать, такая уж волна идет, так надо...

Так надо, потому что таковы условия игры. Потому что единство железных партийных рядов должно быть нерушимо. Потому что *партия всегда права*. Потому что коммунист не может реализовать свою историческую правоту вне партии, помимо партии. Эта формула была придумана Троцким, имя которого тогда, в 37-м году, было страшнее, чем для истово верующего христианина имя сатаны. Но формула жила, она проникла в мозг каждого из них, стала непререкаемым, несокрушимым, не поддающимся сомнению *символом веры*.

Коммунист, исключенный из партийных рядов, должен полностью *разоружиться перед партией*.

И он — разоружается:

Дни великого очищения! Чем страшнее и злее слова по моему адресу, тем больший подъём духа. Совсем не страшны слова, совсем не злые люди, они говорят правильно со своих точек зрения, я же сам для себя произнес гораздо более жестокий приговор, и потому приговоры людей уже не пугают меня теперь...

Все удары принимаю с благодарностью и не ощущаю боли...

Нет нужды, что вместе с правдой говорят много зряшного — о какой-то нелепой расстановке сил, организационных связях, даже о том, что на моей совести жизнь самоубийцы-поэта, которого я никогда не видел в глаза... Всё это пустяки — людям же хочется за внутренними моими причинами найти что-то внешнее, они

цепляются, раздувают, стараются создать стройную систему там, где не было ничего, кроме желания жить полегче, получше, потише — о, этот яд хорошей и лёгкой жизни, не заработанной ничем, кроме знакомства с большими людьми!

И как справедливо всё, и как легко на душе от сознания своего прозрения, сколько сразу новых мыслей и чувств перед тобой, и только еще не совсем умершие нервы иногда ноют, как после операции, когда уже удалено гнилое и заражавшее, но еще больно шевельнуться от швов и голова гудит от воспоминаний о муках, с которыми лежал под собственным ножом.

Но так или иначе, это совершено — я положил себя под нож, я взрезал не только желудок, но и сердце, я умертвил себя во мне — и потом совершилось чудо, — уже не надеявшийся ни на что, кроме гибели физической, уже приготовивший себе эту гибель, — я понял и увидел вдруг начало совсем нового “я” — далёкого от прежних смут и сует, “я”, возникшего из тумана всего лучшего, что во мне было когда-то...

Вот тут, когда читаешь такое, — а такого, как мы уже знаем, там много! — и приходит мысль, что все это предназначается для глаз будущего следователя. И — что самое интересное — эта же мысль приходит в голову и самому автору дневника.

Вернее, ему приходит в голову, что эта мысль не может не прийти в голову и его будущему следователю тоже.

В начале сентября 1937 года в его дневниках — впервые за все это время — появляются наброски некоего драматургического замысла. Но замысел этот был особого рода. Он не был рожден, как можно было бы пред-

положить, желанием писателя, погрузившись в некий художественный вымысел, отвлечься от своих грустных мыслей, уйти — хоть ненадолго — из страшной реальности в какой-то иной, воображаемый, более светлый и радостный мир.

Впрочем, надо признать, что этот воображаемый им мир, в который он стал уходить, был и в самом деле светлее и чище окружающей его мрачной реальности. Но в основе его лежала все та же проклятая реальность.

“Пьеса”, которую он стал сочинять, называлась “ПРОТОКОЛ ДОПРОСА”. И было в ней всего два действующих лица: следователь и подследственный. Подследственным был не кто иной, как он сам: в набросанных драматургом диалогах он прямо так и обозначается личным местоимением первого лица, единственного числа: “Я”.

В реальной его жизни никакого такого допроса и никакого такого протокола не было. И воображаемый писателем следователь — суровый, но в то же время мягкий, деликатный, а главное, искренне стремящийся к выяснению истины, — вряд ли был похож на реального, с которым ему, к счастью для него, так и не привелось встретиться.

В ходе этого воображаемого допроса Афиногенов делится со следователем теми своими мыслями, с которыми мы уже знакомы. И однажды, как бы подтверждая, что не лукавит, не врет, ссылается на свои дневниковые записи. И вот тут-то и начинается самое интересное:

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Запискам вашим я не верю.
я. Я и это знал.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Почему?

я. Потому что раз человек ждет ареста и ведет записки, ясно, надо думать, он ведет их для будущего читателя-следователя и, значит, там уже и приукрашивает всё, как только может, чтобы себя обелить. А прошлые записки, за прошлые годы — так сказать, “редактирует” — исправляет, вырезает, вычеркивает. Ведь так вы подумали?

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Так.

я. И я об этом думал, и передо мной несколько раз вопрос стоял — не лучше ли прекратить записки свои с того момента, когда я понял, что меня должны арестовать? А потом решил — нет, не надо. Ведь в глубине души я всё равно не верил, что меня арестуют... А что касается того, что вы запискам не поверите, так это естественно, так и будет, хотя, конечно, если бы вы в них нашли вредные мысли или даже анекдоты, вы бы тогда им поверили, то есть с другой стороны, стороны обвинения моего. Но это и понятно. Но вы не верите написанному мной для себя, я это знал, об этом думал и это сразу мне облегчило решение задачи — да, надо продолжать писать. Потому что если б я думал, что вы будете верить запискам, то я бы писал как бы для постороннего человека, прощай моя откровенность с самим собой — всё равно я бы чувствовал ваш будущий глаз на эти страницах. А раз я знал уже, что вы всё равно не поверите ничему и только усмехнетесь, прочтя мною записанное — я сразу избавился от вашего присутствия для меня при работе над дневником и опять стал писать свободно и просто, как раньше, в прошлые годы...

Первая мысль, которая тут возникает — не может не возникнуть! — что это такой же хитроумный ход. Новая,

чуть более изощренная (хотя, в сущности, такая же наивная) попытка продемонстрировать будущему следователю свою стопроцентную, кристальную “советскость”.

Но я не думаю, чтобы это было так.

Я верю Афиногенову.

Нет, нет, он не притворялся, не сочинял свой дневник “понарошку”, для чужих глаз. Он был искренен.

Но это была искренность совершенно особого рода.



О карательных органах “Первого в мире Государства рабочих и крестьян” (ЧК, ГПУ, НКВД, МГК, КГБ, а если совсем коротко, ЧКГБ, как называл это ведомство Солженицын) существует огромная литература — мемуарная, фактологическая, аналитическая. Это — горы книг, статей, исследований. Но чем отличается наша гэбуха от всех существовавших когда-либо контрразведок, тайных приказов и тайных канцелярий, по-настоящему понял только один из авторов этой гигантской библиотеки: Джордж Оруэлл.

Усовершенствованный, мало сказать усовершенствованный, доведенный до последней мыслимой черты совершенства пыточный застенок у Оруэлла называется *Министерством любви*.

Какая жуткая ирония!

Но в том-то вся штука, что *никакая это не ирония*.

Название этого оруэлловского министерства точно соответствует главной его цели, главной — в сущности, даже единственной — стоящей перед ним задаче.

Цель эта состоит в том, чтобы заставить каждого, попавшего туда, *полюбить Старшего Брата*.

Заставить его не просто “разоружиться перед партией”, как это называлось у нас (разоружиться ведь можно только на словах), а именно *полюбить*. Не притвориться, не прикинуться любящим, а полюбить по-настоящему, искренно, всей душой.

В мире, созданном проникающей в самую суть вещей фантазией Джорджа Оруэлла, есть такое понятие — “мыслепреступление”. Не тайные замыслы, не преступные умыслы, которые выпытывали на дыбе у царевича Алексея в Петровском тайном приказе, имеются тут в виду, а *любая мысль*, уклонившаяся хоть слегка в сторону от тех, которые предписаны всем и каждому.

В мыслях наших мы, как известно, не вольны. Но оруэлловское Министерство любви для того и существует, чтобы контролировать и стирать из мозга “мыслепреступника” именно вот эти невольные, непроизвольно возникающие мысли.

Этим советская тайная полиция тоже отличалась от всех тайных полиций мира. Те не стремились проникнуть так глубоко в душу подследственного. Им важно было выпытать у него лишь то, что имеет отношение *к делу*, по которому он был взят или в котором подозревался. Их совершенно не волновало, как он (в душе, наедине с собой) относится к музыке Шостаковича или стихам Есенина. Лишь бы не говорил об этом вслух, то есть не занимался антигосударственной пропагандой. Чиновникам оруэлловского Министерства любви недостаточно, чтобы все их подопечные стали законопослушными, лояльными и даже управляемыми гражданами Единого Государства. Одного только послушания им мало. Им нужна любовь. Потому что только неподдельная, искренняя и истовая любовь к Старшему Брату может вытеснить из их сознания — и

даже из подсознания — все нежелательные, не одобряемые Государством симпатии, привязанности, предпочтения. К тому же Шостаковичу или Есенину.

Да, Оруэлл увидел в загадочной для западного человека советской системе то, что до него не видел никто. Многое он понял, о многом догадался. Но кое-что он все-таки не угадал.

Чиновник оруэлловского Министерства любви (О'Брайен) дьявольски умен. Как личность он неизмеримо крупнее и сильнее жалкого, нравственно раздавленного героя. Средства психологического воздействия, имеющиеся в распоряжении Министерства любви, ужасны прежде всего тем, что они основаны на безусловном, абсолютном знании самых глубинных тайн человеческой психики.

Палач наперед знает весь путь, который его жертве предстоит пройти. Умело, рассчитано, тонко направляет он свою жертву по заранее намеченным тропинкам интеллектуальных поисков и духовных сомнений. Тем вернее будут потом выжжены, вытравлены эти сомнения из всех его нервных клеток.

Полная и окончательная победа палача над жертвой в мире Оруэлла обусловлена тем, что палач у него интеллектуально *выше* жертвы, с которой он играет как кошка с мышью. Это проявляется даже в чисто внешних деталях: домашний кабинет О'Брайена изобличает в хозяине человека образованного, тонкого, любящего редкие книги, живопись, музыку.

Но действительность превзошла самые мрачные предположения фантаста. Даже Оруэлл не мог вообразить себе систему, представляющую олигархию темных, невежественных, примитивных существ, взявшихся направлять, кроить и перекраивать по заранее предусмотр-

ренной программе духовный мир подлинных интеллектуалов. И не только взявшихся, но и полностью в этом преуспевших.

Нашему отечественному О'Брайену не было никакой необходимости заниматься всей этой тонкой, изощренной работой со своим подопечным, чтобы заставить его разлюбить Шостаковича. У нас всю эту сложную кропотливую работу *тот прodelывал с собою сам*:

Должен признаться, что, когда я прочел статью “Сумбур вместо музыки”, я растерялся. Первым ощущением был протест. Я подумал: это неверно. Шостаковича ругать нельзя, Шостакович — исключительное явление в нашем искусстве. Эта статья сильно ударила по моему сознанию. Музыка Шостаковича мне всегда нравилась... И вдруг я читаю в газете “Правда”, что опера Шостаковича есть “Сумбур вместо музыки”. Это сказала “Правда”. Как же мне быть с моим отношением к Шостаковичу?..

Легче всего было сказать себе: я не ошибаюсь, и отвергнуть для себя самого, внутри, мнение “Правды”. К чему бы это привело? К очень тяжелым психологическим последствиям.

У нас, товарищи, весь рисунок общественной жизни чрезвычайно сцеплен. У нас нет в жизни и деятельности государства самостоятельно растущих и движущихся линий. Все части рисунка сцеплены, зависят друг от друга и подчинены одной линии... Если я не соглашусь с этой линией в каком-либо отрезке, то весь сложный рисунок жизни, о котором я думаю и пишу, для меня лично рухнет: мне должно перестать нравиться многое, что кажется мне таким обаятельным. Например, что молодой рабочий в одну ночь произвел переворот в

деле добычи угля и стал всемирно знаменитым. Или то, что Литвинов ездит в Женеву и произносит речи, влияющие на судьбы Европы. Или то, что советские стрелки в состязании с американскими оказываются победителями, или то, что ответы Сталина Рой Говарду с восторженным уважением цитируются печатью всего мира...

Если я в чем-нибудь не соглашусь со страной, то вся картина жизни должна для меня потускнеть, потому что все части, все детали этой картины связаны, возникают одна из другой, и ни одна не может быть порочной.

И с этих позиций я начинаю думать о музыке Шостаковича. Как и прежде, она мне продолжает нравиться. Но я вспоминаю: в некоторых местах она всегда казалась мне какой-то пренебрежительной. К кому пренебрежительной? Ко мне.

Этот человек очень одарен, очень обособлен и замкнут. Внешне гений может проявляться двояко: в лучезарности, как у Моцарта, и в пренебрежительной замкнутости, как у Шостаковича.

Мелодия есть лучшее, что может извлечь художник из мира. Я выпрашиваю у Шостаковича мелодию, он ломает ее в угоду неизвестно чему, и это меня принижает. Эта пренебрежительность к “черни” и рождает некоторые особенности музыки Шостаковича — те неясности, причуды, которые нужны только ему и которые принижают нас. Вот эти причуды, которые рождаются из пренебрежительности, названы в “Правде” сумбуром и кривлянием...

*(Юрий Олеша. Речь на обсуждении статьи
“Правды” “Сумбур вместо музыки”)*

Героя романа Оруэлла оперировали изощреннейшие специалисты, понаторевшие в операциях такого рода. Советский писатель Юрий Олеся сам, своей рукой отрезал и беспощадно выкинул в мусорную корзину живой, кровоточащий кусок собственной души. И надо признать, что справился он с этой задачей гораздо лучше, чем если бы он доверил эту операцию кому-нибудь другому.

Сознание, что он вырезает у себя злокачественную опухоль, от которой могут быть метастазы, — этот страх остаться больным, не излечиться до конца от своей ужасной болезни побудил его быть особенно добросовестным и захватить скальпелем немалое пространство и *здоровой* ткани. Во всяком случае той ткани, которую заподозрить в затронутости болезнью мог только он и никто другой.

Вот, например: как ему быть с Джойсом? Со своим острым художническим интересом к этому писателю? Однажды он имел неосторожность признаться, что ощущает *гениальность* этого художника, что Горький для него (сам Горький!!!) “формально менее интересен, чем Джойс”. У Джойса встречаются порой совершенно поразительные метафоры. А он, Олеся, не раз говорил, что метафора — это единственное, что остается от искусства в веках. Правильно ли это?

Казалось бы, ну при чем тут Джойс! В статье “Правды” о Джойсе — ни слова. Там речь только о Шостаковиче...

Но он, Олеся, не станет заниматься этим недостойным самообманом. Он знает: Джойс тут очень даже при чем. Джойс сложен, элитарен, а следовательно, пренебрежителен к черни уж никак не меньше, чем Шостакович. Если он не расправится с Джойсом сейчас, потом

будет поздно. Нет, лучше сразу, заблаговременно вырезать и этот кусок зараженной ткани:

Художник должен говорить человеку: “Да, да, да”, а Джойс говорит: “Нет, нет, нет”. Всё плохо на земле, — говорит Джойс. И поэтому вся его гениальность для меня не нужна... Я приведу пример из Джойса. Этот писатель сказал: “Сыр — это труп молока”. Вот, товарищи, как страшно. Писатель Запада увидел смерть молока. Сказал, что молоко может быть мертвым.

Хорошо это сказано? Хорошо. Это сказано правильно, но мы не хотим такой правильности. Мы хотим художественной диалектической правды. А с точки зрения этой правды молоко никогда не может быть трупом, оно течет из груди матери в уста ребенка, и поэтому оно бессмертно.

(Из той же речи)

Вот какая сложная и тонкая была проделана работа. И вот что самое интересное: в отличие от ситуации, придуманной Оруэллом, в реальной жизни оказалось, что палачу вовсе не нужно было быть умным, пронизательным, всезнающим. Интеллигент *сам* выдумал своего палача, усложнил его, наделил несуществующими свойствами. Интеллигент *сам* убедил себя в том, что палач знает что-то такое, что ему, интеллигенту, неизвестно и недоступно.

Герой Оруэлла, чтобы сделать с собой то, что сотворил со своей душой Юрий Карлович Олеша, должен был пройти через все пытки, изобретенные высокоумными палачами Министерства любви, включая самое страшное и самое действенное их изобретение — комнату сто один. У нас же до изобретения такой комнаты, кажется, не додумались?

Додуматься, может быть, и не додумались. Но такая “комната” у нас тоже была.

Ведь эта оруэлловская “комната” страшна не тем, *что* в ней там с тобой сделают, а тем, что ты *знаешь*, заранее знаешь, что сделают там с тобой нечто такое, чего ты не выдержишь, чего никто не выдержит, чего *нельзя* выдержать:

То, о чем идет речь, — это отнюдь не учреждения, о которых вы, может быть, подумали, не многоярусные громады, без вывесок, с глухими воротами, с уходящими ввысь рядами квадратных окон, что придает им сходство с колумбариями... Работа секретных учреждений только реализует то, что заложено в душе. Как голос совести служит доказательством существования Бога, так страх сам по себе — доказательство существования Сил, страх привлечь к себе внимание, быть подслушанным, высвеченным, страх наткнуться на луч, который проткнет и пригвоздит, как булавка пронзает дергающееся насекомое. Так смутное чувство мистической вины (перед кем и в чем?) обращается в постулат государственной неполноценности...

Близость губительного луча ощущалась внезапно... Страх охватывал мгновенно, он всецело овладевал вами — сказывалась подготовленность! — и первый момент был момент каталептической скованности...

Первый шок — кто его не помнит? В дрожании наэлектризованного воздуха, в безмолвном грохоте стучащей в висках крови — перед глазами сияют два слова: *вам повестка. Вызов в колумбарий. Ожидание, почти уверенность: придешь домой — и он на столе...* Страх гнал вас вперед, как ветер — листья по тротуару, он высекал поступки, но скрытый смысл этой активно-

сти был вняттен лишь тому, кто так же, как вы, ощутил близость луча.

Это — время деяний, коллекционирования заслуг; время вывешивания флагов. Когда страх расцветал цветами патриотизма. Убежденные речи, каменная верность догме... Уверенность, что сзади надвигается круг света, сейчас он коснется тебя, и паучьи лапы потащат в подвал, в преисподнюю — эта уверенность подвигала на неслыханные свершения. Это непрерывно длящееся самоутверждение режима, жизнь — молебен, неустанное славословие, в сердцевине которого — страх...

(Борис Хазанов. Страх)

Вот она — наша “комната сто один”. И можете поверить автору процитированного рассказа: силой своего воздействия на психику подследственного (а подследственными у нас были *все!*) она не уступала той, оруэлловской.



В январе 1938 года состоялся Пленум ЦК ВКП(б), на котором было принято постановление “Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков”.

Прочитав это постановление, Афиногенов записывает в своем дневнике:

...Я прочел в этом постановлении свою историю, все, все мои мысли, мои бессонные ночи, мои думы о спра-

ведливости и неизбежно восторжествующей правде нашей великой партии — все они здесь, в строках ярких и простых этого исторического постановления! О, я не могу продолжать, я должен успокоиться...

Вышел на улицу, гулял ночью без шапки, подставлял лицо ветру, я не боялся простудиться, нет, теперь-то, когда всё то, о чем думалось, сбылось, и так скоро, когда названы своими именами методы вражеской работы, клеветущей на членов партии, когда найдены такие проникновенные слова о каждом члене партии и его праве на чуткий подход — нет, в такое время нельзя простудиться и болеть, в такое время надо нестись вперед, надо возрождаться к творческой работе, к новым порывам жизни, бурной и яркой, как всё, что мы делаем сейчас!

О, сердце бьется непривычно сильно, я хочу говорить с людьми, видеть их, всем сказать в лицо — вы видите, видите, мой пример, моя история записаны в этом постановлении, вот как работали враги, карьеристы, трусы и шкурники... вот как они истребляли и клеветали на людей, вот как они раскалывали ряды партии, так прямо и сказано в постановлении...

Ларчик открывался просто. В мае тридцать седьмого года Александра Николаевича Афиногенова исключили из партии. А в январе тридцать восьмого он узнал, что это не родная коммунистическая партия отторгла его от себя, а затесавшиеся в ее святые, железные ряды враги, карьеристы, трусы и шкурники. Теперь, когда все это наконец разъяснилось, справедливость безусловно восторжествует, его конечно же восстановят, реабилитируют.

Так оно и вышло:

Прошедший день — как день жизненного перелома, как самый крутой поворот дороги.

Я восстановлен!

Сейчас два часа ночи. Мы приехали в полночь усталые, нервные, радостные, как никогда. Но слишком сильно было волнение, слишком невероятен такой скорый поворот, слишком замечательно всё сложилось.

Я приехал на бюро к восьми. Ждал час с небольшим, потом меня вызвали. Уже потому, как меня слушали — я понял, что мне сочувствуют, что меня понимают! Первый раз за девять месяцев — меня слушали люди, стремившиеся меня понять, разобраться, найти настоящую правду! И они нашли её... Говорили члены бюро — среди них начальник райНКВД.

Он сказал, что, разумеется, решение парторганизации обо мне надо отменить!..

Все согласились, у меня слезы застлали глаза, я что-то пробормотал, что им не придется стыдиться своего решения, что я оправдаю их доверие всей своей жизнью и работой...

Лыткин проводил меня, пожал дружески руку, сразу перешел на “ты” — обещал поскорее выдать билет...

И вот, наконец, свершилось. Спустя четыре дня, седьмого февраля, он записывает:

Партийный билет у меня. Он лежит передо мной, я не могу налюбоваться и всё стараюсь подметить в нем что-нибудь новое, какие-то изменения. Ведь девять месяцев он лежал где-то, девять пустых клеточек, нет, даже десять, с апреля прошлого года нет партийных взносов. Книжечка лежит такая же новая, и номер тот же самый: 0018929. И мой портрет и росчерк и всё, всё моё, преж-

нее, возвращающее меня в партию, в её замечательную жизнь! Я получил билет сегодня в семь вечера, секретарь, дававший его, улыбался и спрашивал: “Ну, как? Чувствуете?” Я сначала и говорить не мог, потом что-то пробормотал невразумительное. Но они и без того поняли. Всё хотелось без конца жать им руки и благодарить за чуткость, за быстрое решение, за правду, найденную ими так скоро и полно...

Тут в его искренности не может быть уже никаких сомнений. И эти слезы, заставшие ему глаза после речи начальника районного отдела НКВД, были искренними (еще бы!), и телячий восторг от того, что Лыткин (видимо, секретарь райкома) сразу перешел с ним на “ты”, и эта острая нежность к партийному билету, с которым он был разлучен на целых девять месяцев, — все эти его чувства были непритворные, а самые что ни на есть доподлинные, идущие от самого сердца.

Но такими же непритворными, такими же подлинными были и все те мысли и чувства, которыми он делился со своим дневником на протяжении и всех предшествующих этой записи девяти месяцев.

Пьеса “Страх”, написанная Александром Николаевичем Афиногеновым в 1930 году, неопровержимо свидетельствует, что человек он был очень даже неглупый. До того времени, когда души его сограждан оледенил “повальный страх тридцать седьмого года”, оставалось еще целых семь лет, а он уже — первый! — произнес вслух это ключевое слово. Но поняв, какую роль играет страх в жизни советских людей, он еще далеко не всё знал о некоторых свойствах этого тотального страха. Не знал, даже не догадывался, что при известном стечении обстоятельств этот страх может притвориться лю-

бовью. И даже не притвориться, а трансформироваться, превратиться в самую страстную, самую пылкую, а главное, самую искреннюю любовь.



В “Дневнике” К.И. Чуковского, опубликованном сравнительно недавно, меня поразила такая запись, датированная 22-м апреля 1936 года:

Вчера на съезде сидел в 6-м или 7-м ряду. Оглянулся: Борис Пастернак. Я пошел к нему, взял его в передние ряды (рядом со мной было свободное место). Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А ОН стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти. Сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его — просто видеть — для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали, — счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал аудитории с прелестной улыбкой — все мы так и зашептали: “Часы, часы, он показал часы” — и потом расходясь, уже возле вешалок вновь вспоминали об этих часах. Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: “Ах, эта Демченко, заслоняет его!” Домой мы шли вместе с Пастернаком и оба упивались нашей радостью...

Прочитав это, я — грешным делом — подумал, что уж это-то точно писалось в расчете на *чужой глаз*. Никак мне не верилось, чтобы у *таких людей* эта вспышка истерической любви к Сталину могла быть искренней. Ведь это же не Афиногенов, родившийся в 1904 году (в семнадцатом, значит, ему было 13 лет) и в 1922-м восемнадцатилетним юнцом вступивший в коммунистическую партию. Борис Леонидович встретил революцию взрослым, сложившимся человеком, а Корнею Ивановичу в 17-м году было 35 лет, и он к тому времени был уже не только известным, но и довольно влиятельным литератором. И отношение — как того, так и другого — к советской власти вряд ли было таким уж восторженным.

Но в свете всего вышесказанного возникало все-таки подозрение, что и у них тоже это было не лицемерием, не притворством, а все той же *сублимацией страха*.

А вот еще один, как говорят в таких случаях, человеческий документ:

Алексей Максимович,

Искренно прошу Вас, простите мне, что после всего случившегося со мной я вообще осмеливаюсь писать Вам. У меня давно не было с Вами ни личного, ни письменного общения и мне, по правде говоря, часто казалось, что я лично не пользовался Вашими симпатиями и раньше. Но ведь Вам пишут многие, можно сказать, все... Так разрешите и мне, сейчас одному из несчастнейших людей во всем мире, обратиться к Вам.

Самое страшное, что случилось со мною: на меня легло гнуснейшее и преступнейшее из убийств, совершившихся на земле, — убийство С.М. Кирова... Конечно,

раньше мне и в голову не приходило, что я могу оказаться хоть в какой-нибудь удаленной степени связанным с таким, по Вашему же выражению, “идиотским и подлым преступлением”. А вышло то, что вышло. И пролетарский суд целиком прав в своем приговоре. Сколько ни пришлось бы мне еще жить на свете, при слове “Киров” мое сердце каждый раз должно почувствовать укол иглы, почувствовать проклятие, идущее от всех лучших людей Союза (да и всего мира). Ибо произошло неслыханное, невиданное, непоправимое. Что ни говори, что ни пиши, как ни терзайся, как ни бейся головой о стену — это непоправимо. Это — навсегда. Какое-то время я еще буду жить. И всё это время не будет дня, когда эта мысль не будет гвоздить мой мозг.

(Г.Е. Зиновьев — А.М. Горькому.

27 января 1935 г.)

Зиновьев был человек скверный. Но к убийству Кирова — ни сном ни духом — причастен не был.

И тем не менее я думаю, что в этом своем письме он не кривил душой. Не лгал и не лицемерил.

Что же заставило его так искренно признаваться в несуществующих своих грехах и преступлениях?

Этот проклятый вопрос мучил многих современников знаменитых московских больших процессов.

Вот один из самых пронизательных ответов:

Оставшееся загадкой для всего мира непонятное поведение на Московских процессах 1936–1938 гг. таких фигур, как Бухарин, Рыков, Пятаков, Каменев, Крестинский, Раковский и другие, не может быть объяснено только тем, что их “физически” мучили. Вместе с этим было и другое,

очень сложное, что заставляло “сознаваться”, считать “преступным” их уклон от “генеральной линии.

(Н. Валентинов. Недорисованный портрет)

Но самый убедительный ответ на этот роковой вопрос дал Сталин.

Вообще-то он не снисходил до психологических тонкостей. Рассказывают, что когда ему доложили, что арестованные врачи не хотят признаваться в своих мнимых преступлениях, он молча ткнул себя кулаком в зубы, показывая — жестом, — что надо делать в этом случае.

Но при этом нельзя сказать, чтобы душа подследственного его так-таки уж совсем не интересовала. И он знал, что существуют и другие, не только физические, способы воздействия на душу подследственного.

На одном из кремлевских совещаний Миронов в присутствии Ягоды, Гая и Слуцкого докладывал Сталину о ходе следствия по делу Рейнгольда, Пикеля и Каменева. Миронов доложил, что Каменев оказывает упорное сопротивление: мало надежды, что удастся его сломить.

— Так вы думаете, Каменев не сознается? — спросил Сталин...

— Не знаю, — ответил Миронов...

— Вы не знаете? — спросил Сталин с подчеркнутым удивлением, пристально глядя на Миронова. — А вы знаете, сколько весит наше государство, со всеми его заводами, машинами, армией, со всем вооружением и флотом?

Миронов и все присутствующие с удивлением смотрели на Сталина, не понимая, куда он клонит.

— Подумайте и ответьте мне, — настаивал Сталин.

Мионов улыбнулся, думая, что Сталин шутит. Но Сталин шутить не собирался. Он смотрел на Миронова вполне серьезно.

— Я вас спрашиваю, сколько все это весит? — настаивал он.

Мионов смешался. Он ждал, все еще надеясь, что Сталин превратит все в шутку, но Сталин продолжал смотреть на него в упор в ожидании ответа. Мионов пожал плечами и, подобно школьнику на экзамене, сказал неуверенным голосом:

— Никто не может этого знать, Иосиф Виссарионович. Это из области астрономических цифр.

— Ну а может один человек противостоять давлению такого астрономического веса? — спросил Сталин.

— Нет, — ответил Мионов.

— Ну так вот, не говорите мне больше, что Каменев или кто-то другой из арестованных способен выдержать это давление”.

(Александр Орлов.

Тайная история сталинских преступлений)

... Однажды случилось мне прочесть книгу некоего А. Казанцева “Третья сила. Россия между нацизмом и коммунизмом”. Автор этой книги — видный член НТС — был в центре событий, определивших возникновение армии генерала Власова. Он, в частности, занимался вербовкой пленных солдат и офицеров, среди которых, как он говорит, было немало искренних и даже ярых ненавистников советской системы. На сторону Власова они переходили добровольно и даже с радостью. Но когда фронт стал приближаться, в сознании этих людей произошел какой-то странный, поначалу совершенно необъяснимый для автора книги душевный перелом.

Солдат и офицеров, которые вчера еще сражались, не щадя жизни, вдруг охватила какая-то апатия, какая-то странная болезнь размягчившейся воли. Люди, которым, казалось бы, уже нечего было терять, без всякого сопротивления, легко и быстро поддались на уговоры просочившихся в их ряды советских агитаторов, зовущих переходить, как пишет автор книги, “на ту сторону, то есть на верную смерть”.

Но самым загадочным тут было даже не это. Более всего автор этой книги был поражен тем, что приближение советской армии стремительно меняло, деформировало *сознание* этих людей. По мере этого приближения они начинали оценивать всё происходящее, исходя не из подлинных (или казавшихся автору подлинными) своих убеждений, а из ортодоксально советских. Их всех вдруг охватило глубокое и самое искреннее сознание своей вины перед родиной.

Впечатление было такое, словно наступающая советская армия являла собой некий гигантский магнит, властно отклоняющий в свою сторону стрелку того нравственного компаса, который определяет поведение каждого человека.

Автор хоть и изумляется по этому поводу, но в конце концов довольно точно определяет природу этого их душевного состояния. “В душу каждого, — пишет он, — гипнотизирующими глазами удава заглянул многолетний страх”. Разгадка кроется в этом одном-единственном словечке: “многолетний”. Вот в том-то всё и дело, что это был не сегодняшний, сиюминутный, только что охвативший их страх перед надвигающейся неизбежной расплатой, а тот давний, многолетний страх, с которым они родились, который всосали с молоком матери, во власти которого, быть может, даже и не сознавая этого, прожили

всю свою предшествующую жизнь. Это был совершенно особый, какой-то мистический страх. “Страх не наказания, не физической смерти, — поясняет автор. — Этот страх был больше, чем страх перед физической смертью. Из страха перед этим страхом люди тогда кончали самоубийством...”

Поверив, что система, породившая этот тотальный страх, рухнула, они почувствовали себя свободными от него. Но как только выяснилось, что система жива, что она не только живет, но и побеждает, надвигается на них всей своей громадой, этот дремавший где-то там в подкорке многолетний страх тут же очнулся, ожил и мгновенно вернул себе свои права, свою власть над их душами.

Они снова оказались в зоне действия гигантского магнита, создававшего вокруг себя то мощное силовое поле, которое мы называли морально-политическим единством советского народа.

“Однажды ГПУ пришло к Эзопу...”

Это — первая строка одной из тех басен, которые иногда вдвоем, иногда втроем, а иногда и порознь сочиняли Николай Эрдман, Владимир Масс и Михаил Вольпин.

А вот — полный ее “текст слов”:

Однажды ГПУ пришло к Эзопу:

И взяло старика за жопу.

А вывод ясен:

Не надо басен!

Справедливость этой их басенной морали всем троим авторам пришлось испытать на собственной шкуре.

Непосредственным поводом для ареста всех трех соавторов и отправки их в “места отдаленные” послужило следующее:

ПИСЬМО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОГПУ
Г.Г. Ягоды И.В. Сталину

9 июля 1933 г.

ЦК ВКП(б) тов. Сталину

Направляю Вам некоторые из неопубликованных сатирических басен, на наш взгляд, контрреволюционного содержания, являющихся коллективным творчеством московских драматургов Эрдмана, Массы и Вольпина.¹

Басни эти довольно широко известны среди литературных и околосредственных кругов, где упомянутые авторы лично читают их.

Эрдман Н.Р. — 1900 г. рождения, беспартийный, автор шедшей у Мейерхольда комедии “Мандат”, автор снятой с постановки пьесы “Самоубийца”.

Масса В.З. — 1896 г. рождения, беспартийный, известен как соавтор Эрдмана по некоторым обозрениям и киносценариям. Масса — Эрдман являются авторами “Заседания о смехе”.

Вольпин М.Д. — 1902 г. рождения, поэт-сатирик, соавтор Эрдмана, сотрудник “Крокодила”.

Полагаю, что указанных литераторов следовало бы или арестовать, или выслать за пределы Москвы в разные пункты.

Заместитель председателя ОГПУ

Г. Ягода

*(Власть и художественная интеллигенция.
Документы. 1917–1953. М., 2002. С. 202–203)*

Эта рекомендация вождям была одобрена, о чем свидетельствует следующий документ:

1 Подчеркнуто рукой Сталина.

ПИСЬМО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОГПУ
Я.С. АГРАНОВА И.В. СТАЛИНУ ОБ АРЕСТЕ
Н.Р. ЭРДМАНА, В.З. МАССА И Э. ГЕРМАНА

25 октября 1933 г.

Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Сталину

11 октября с[его] г[ода] были арестованы Н. Эрдман, Вл. Масс и Э. Герман — он же Эмиль Кроткий за распространение контрреволюционных литературных произведений.

При обыске у Масса, Эрдмана и Германа обнаружены к[онтр]революционные басни-сатиры.

Арестованные Эрдман, Масс и Герман подтвердили, что они являются авторами и распространителями обнаруженных у них контрреволюционных произведений.

По постановлению особого совещания при коллегии ОГПУ от 14 октября Э. Герман выслан на 3 года в г. Камень Западно-Сибирского края. По постановлению особого совещания при коллегии ОГПУ от 16 октября Н. Эрдман выслан на 3 года в г. Енисейск Восточно-Сибирского края, а В. Масс — в г. Тобольск на Урале.

Приложение:

- 1) копия протокола допроса Н. Эрдмана от 15 октября [19]33 г.
- 2) копия протокола допроса В. Масса от 16 октября [19]33 г.
- 3) заявление В. Масса в коллегия ОГПУ от 16 октября [19]33 г.

Заместитель [председателя] ОГПУ

Я. Агранов

(Там же. С. 207)

Аресту и ссылке трех соавторов предшествовал скандал, разразившийся вокруг альманаха “Год шестнадцатый”,

задуманный Горьким и готовящийся к его приезду. (Готовил его под непосредственным наблюдением Горького и прямым его указаниям Л. Авербах.)

Горькому, судя по всему, очень хотелось, чтобы этот первый советский альманах (за ним должны были последовать — и последовали — другие ежегодники: “Год семнадцатый”, “Год восемнадцатый», “Год девятнадцатый” и др.) выглядел достойно и представлял молодую советскую литературу самыми авторитетными ее именами.

В авторский состав будущего альманаха вошли К. Паустовский (повесть “Судьба Шарля Лансевиля”), либретто оперы Э. Багрицкого “Дума про Опанаса”, написанное по мотивам знаменитой поэмы, запрещенной в 1932 году, Всеволод Иванов, пародии Александра Архангельского с иллюстрациями Кукрыниксов, впервые появившаяся на русском языке статья Д. Святополк-Мирского о творчестве Джеймса Джойса, “Маски” Андрея Белого, “Пространство Эвклида” К. Петрова-Водкина, “О, кей” Пильняка.

Дал Горькой в этот альманах и только что переработанный им первый вариант своего “Егора Булычева”.

Горькому, как видно, очень хотелось напечатать в альманахе и эрдмановского “Самоубийцу”. Но с публикацией “Самоубийцы” дело не выгорело. А представить себе свой первый советский альманах без Эрдмана Алексей Максимович не мог. В результате на страницах альманаха появилось сатирическое обозрение Эрдмана и Масса “Заседание о смехе”, вызвавшее грандиозный скандал, специальное решение Политбюро, изъятие той части тиража альманаха, которая не успела попасть в продажу, и появление нового, “очищенное” от этой крамолы его издания.

Сатирическое обозрение это никаких устоев не задевало. И, не зная подоплеку этого дела, можно только подивиться тому, что такое в общем-то невинное сочинение вызвало такой грандиозный скандал. (Специальное заседание и решение Политбюро, вмешательство всемогущего ГПУ, обращения ведущих работников этого ведомства (Ягоды и Агранова) к Сталину и, наконец, высочайшее решение: арест и ссылка соавторов в разные “отдаленные места” Сибири.)

Все это вызовет у нас еще большее удивление, если мы вспомним, что в это самое время без всяких ограничений и тем более эксцессов печатались (и не где-нибудь, а в самой “Правде”) куда более злые и острые сатирические фельетоны И. Ильфа и Е. Петрова. И на эти самые темы.

Наверняка для ареста и ссылки в места отдаленные В. Масса и Н. Эрдмана была еще и какая-то другая, более основательная причина, чем напечатанное ими в альманахе “Год шестнадцатый” “Заседание о смехе”. (Не говоря уже о М. Вольпине, который к созданию означенного сочинения вообще никакого отношения не имел.)

Да, такая причина действительно была. И в тогдашних литературных — да и не только литературных — кругах о ней было довольно широко известно.



На каком-то важном кремлевском приеме, куда были приглашены и где выступали лучшие артисты страны, к Василию Ивановичу Качалову, уже прочитавшему кое-что из своего обычного репертуара, обратился кто-то “из публики” с просьбой прочесть что-нибудь веселое,

смешное. И Василий Иванович, бывший в тот момент, как видно, уже слегка подшофе и не вполне сообразив, перед кем выступает, прочел кое-что из своего, так сказать, домашнего репертуара.

Жена Николая Робертовича Эрдмана (точнее — одна из его жен) Наталья Васильевна Чидсон рассказывает об этом так:

Поводом для ссылки послужили, как говорили, басни и стихи Николая Робертовича, которые прочел Качалов на одном из приемов. Стихотворение называлось “Колыбельная”. Вот его текст:

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Видишь, слон заснул у стула,
Танк забился под кровать,
Мама штепсель повернула,
Ты спокойно можешь спать.
За тебя не спят другие,
Дяди взрослые, большие.
За тебя сейчас не спит
Бородатый дядя Шмидт.
Он сидит за самоваром —
Двадцать восемь чашек в ряд, —
И за чашками герои
о геройстве говорят.
Льется мерная беседа
лучших сталинских сынов,
И сияют в самоваре
двадцать восемь орденов.
“Тайн, товарищи, в природе
Не должно, конечно, быть.
Если тайны есть в природе,

Значит, нужно их открыть”.
 Это Шмидт, напившись чаю,
 Говорит героям.
 И герои отвечают:
 “Хорошо, откроем”.
 Перед тем как открывать,
 Чтоб набраться силы,
 Все ложатся на кровать,
 Как вот ты, мой милый.
 Спят герои, с ними Шмидт
 На медвежьей шкуре спит.
 В миллионах разных спален
 Спят все люди на земле...
 Лишь один товарищ Сталин
 Никогда не спит в Кремле.

*(Николай Эрдман. Пьесы. Интермедии.
 Письма. Документы. Воспоминания современников.
 М., 1990. С. 336–337)*

Аудиторией, к которой оно было неосторожно обращено, стихотворение это вполне могло быть воспринято как издевательское. А последние его строки так и вовсе смахивали на “оскорбление величества”.

Но я не случайно обратил внимание читателя на то, что Наталья Васильевна была *одной из жен* Николая Робертовича. Точнее — она была *второй* его женой, и познакомились они незадолго до войны, в 1940 году. Так что историю, о которой вся театральная Москва говорила семью-восемью годами раньше, она вполне могла знать лишь приблизительно и рассказать о ней не совсем достоверно.

На мысль о недостоверности этого ее рассказа наводит то, что герои-полярники, о которых говорится в

стихотворении, героями стали позже — после эпопеи по спасению челюскинцев. Да и сам Шмидт, хоть полярным исследователем стал гораздо раньше, звания Героя Советского Союза удостоился только в 1937-м.

Гораздо достовернее та же история выглядит в изложении Анны Владимировны Масс — дочери Владимира Захаровича Массы, бывшего, как она уверяет, главным героем и чуть ли даже не единственной жертвой разразившегося скандала:

Летом 1933 года Владимир Захарович <Масс> работал в составе киносъемочной группы в Сочи. Снимались “Веселые ребята”...

Как рассказывал мой отец, в Сочи случилось следующее. Он жил в одном гостиничном номере с Леонидом Утесовым. Июньской ночью в гостиницу явились двое военных и приказали следовать за ними.

— Утесов крикнул мне из окна: “Владимир Захарович, как же вы без плаща?” — и кинул свой плащ. Так меня и увезли в утесовском плаще.

Что же произошло?

Знаменитый в те годы артист МХАТа Василий Иванович Качалов был приглашен на правительственный прием в честь японского посла. Он прочитал несколько своих классических монологов, после этого устроители приема попросили его почитать что-нибудь легкое, эстрадного характера. И Качалов, не осознав, где и перед кем он выступает, прочитал три <басни> <Масса> (“Фуга Баха”, “Об очковтирательстве”, “Случай с пастухом”). <Басни> этого цикла были известны узкому кругу писателей и актеров, в них отразилась литературная полемика, главным образом с рапповцами и рапповской критикой. Качалов закончил чтение <басен>.

В воздухе повис роковой вопрос:
 — Кто автор этих хулиганских стихов?
 И участь моего отца была предрешена...
 Одновременно с Владимиром Массом был арестован и
 выслан в Енисейск Николай Эрдман — только что был
 опубликован в альманахе “Год шестнадцатый” их фель-
 етон “Заседание о смехе”.
 А “Веселые ребята” вышли в срок и начали свое триум-
 фальное шествие в пространстве и времени, только имен
 сценаристов в титрах не было. (Ныне имена авторов
 сценария восстановлены.)
 В. <Масс> был выслан в Тобольск.

*(Анна Масс. Озорные басни и др.
 “Вопросы литературы”. 1988. № 1. С. 255–260)*

Получается, что Н. Эрдман “влип” в эту историю чуть
 ли не случайно: как соавтор Массы по злополучному “За-
 седанию о смехе”.

На самом деле это было, конечно, не так. Но со-
 общению Анны Владимировны, что читал Качалов на
 том правительственном приеме в честь японского посла
 только басни В. Массы, и какие именно, верить, я думаю,
 можно.

Итак, сойдемся на том, что в тот вечер Качаловым
 были прочитаны только эти басни:

ФУГА БАХА

Однажды Бах спросил свою подругу:
 “Скажите мне, вы любите ли фугу?”
 Смуться и покраснев, как мак,
 Подруга отвечала так:
 “Не ожидала я увидеть в вас нахала.

Прошу вас, не теряйте головы.
Я — девушка и в жизни не видала
Того, что здесь назвали вы”.

Мораль: у девушек, почти без исключения,
Богатое воображение.

СЛУЧАЙ С ПАСТУХОМ

Один пастух, большой затейник,
Сел без штанов на муравейник.
Но муравьи бывают люты,
Когда им причиняют зло,
И через две или три минуты
Он поднял крик на все село.
Он был искусан ими в знак протеста.

Мораль: не занимай ответственного места.

И, наконец, — третья, последняя:

ОБ ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВЕ

В одном термометре вдруг захотела ртуть
Достигнуть сорока во что бы то ни стало.
И в сей возможности не усомнясь нимало,
Пустилась в путь.

— Энтузиазм большая сила!
Вскричала ртуть и стала лезть.
Но ничего не выходило:
Все тридцать шесть и тридцать шесть.

— Ура! Вперед! На карте честь! —
Она кричит и лезет вон из skóry.
Все тридцать шесть.

А что ж, друзья, и в жизни есть
Такого рода “Реомюры”:

Кричат: ура!

Кричат: пора!

А не выходит ни хера.

Если первая из этих трех басен могла возмутить только нравственное чувство целомудренной большевистской верхушки, то о двух других этого уже не скажешь.

Мораль одной из них (“не занимай ответственного места”) кое-кто из присутствующих вполне мог принять и на свой собственный счет. Ну а что касается басни про ртуть, то в ее антисоветском характере и вовсе трудно было сомневаться. Уж очень и сюжет ее, и мораль (“Кричат: ура! Кричат: пора! А не выходит ни хера!”) напоминали главный тогдашний партийный, государственный лозунг: “Догнать и перегнать ведущие капиталистические страны!”. Страна напрягалась из последних сил, но, в точном соответствии с моралью этой басни, не выходило “ни хера”.

Все это было вполне достаточным основанием для того, чтобы кто-то из присутствующих (по слухам, это был Ворошилов) гневно спросил:

— Кто автор этих хулиганских стихов?

Но — по тем временам — все-таки еще недостаточным для того, чтобы на этом основании закатать их в Сибирь.

За этим, однако, дело не стало.

Тотчас была дано распоряжение произвести у “хулиганов” обыск. И обыск этот, разумеется, дал свои результаты, открыв перед обыскивающими целую кладовую “контрреволюции”, как это тогда называлось:

Из письма заместителя председателя
ОГПУ Я.С. Агранова И.В. Сталину

25 октября 1933 г.

Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Сталину

При обыске у Масса, Эрдмана и Германа обнаружены к[онтр]революционные басни-сатиры.

Арестованные Эрдман, Масс и Герман подтвердили, что они являются авторами и распространителями обнаруженных у них контрреволюционных] произведений.

*(Власть и художественная интеллигенция.
Документы. 1917–1953. М., 2002. С. 207)*

Результат последовал незамедлительно.

Сейчас все эти “контрреволюционные” произведения хорошо известны. Но установить, какие из них принадлежат Н. Эрдману, какие В. Массу, а какие они сочиняли вдвоем, практически уже невозможно.

Известно, что Н.Р. Эрдманом написано множество басен. Некоторые из них — в соавторстве с В.З. Массом. Видимо, сегодня, когда обоих соавторов нет среди нас, установить с категорической достоверностью единоличное авторство или меру участия партнеров представляется, увы, невозможным.

Так, некоторые из басен, известных мне как эрдмановские — в чтении самого Николая Робертовича, а также Х.А. Локшиной, отличавшейся до последних дней феноменальной памятью, были опубликованы в журнале “Вопросы литературы” № 1 за 1988 год как басни В.З. Масса. Разгадка этого недоразумения кроется в том, что машинописные тексты басен хранились в архиве В.З. Масса без авторской подписи, что не исключало воз-

возможности публикации басен под двумя именами либо под любым из двух на выбор издателя. Видимо, следует признать двойное авторство этих басен. К этому склоняется и опубликовавшая их А.В. Масс.

(А. Хржановский. *Из заметок и воспоминаний о Н.Р. Эрдмане. Николай Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников.* М., 1990. С. 385–386)

Помимо этой, тоже, конечно, очень важной причины, есть и другая не менее важная, из-за которой почти невозможно установить, какая басня кем из них была написана, а какие они сочиняли вдвоем.

Помимо общего направления мысли все (почти все) эти басни отличает некий эстетический канон, выработавшийся у соавторов в процессе их совместной работы. (Как у Ильфа и Петрова, в книге которых “Одноэтажная Америка” никакой текстолог уже не различит, какие ее главы авторы писали порознь, а какие вдвоем.)

Басня — старый, можно даже сказать, древний жанр. (Не зря соавторы в одной из самых знаменитых своих басен, явно имея в виду себя, поминают Эзопа.)

Но Эрдман и Масс не просто внесли в этот старый жанр нечто новое, свое. Они его *перевернули*. Можно даже сказать — *вывернули наизнанку*.

Строго говоря, эти их басни не столько продолжают и развивают этот старый (древний) жанр, сколько его *пародируют*.

Классическая басня, как известно, завершается (а иногда предваряется) “моралью”, и эта ее мораль является непосредственным и логичным выводом из ее сюжета. Как, скажем, у Крылова в басне “Лебедь, рак и щука”:

Когда в товарищах согласия нет,
 На лад их дело не пойдет
 И выйдет из него не дело — только мука.

Или в басне “Квартет”:

А вы, друзья, как ни садитесь,
 Всё в музыканты не годитесь.

У Эрдмана и Масса мораль их басни, как правило, не то что не вытекает из ее сюжета. Она ему даже не противоречит. Она просто НИКАК С НИМ НЕ СВЯЗАНА.

Взять хоть тот же “Случай с пастухом”.

Мораль — “Не занимай ответственного места” с дурацким поступком затейника-пастуха, который сел на муравейник, решительно никак не связана. Разве только если предположить, что этим своим поступком он нанес муравейнику и обитавшим в нем муравьям серьезный вред. (На что, кстати, намекает фраза, что муравьи кусали его не просто так, а — “в знак протеста”.) Но даже при таком — весьма приблизительном — истолковании смысла этой басни следует признать, что с классической басенной традицией она имеет весьма мало общего.

Особенно отчетливо этот эстетический принцип выявлен в басне:

ВЕРБЛЮД И ИГОЛЬНОЕ УШКО

Один верблюд пролез в угольное ушко.
 А это очень нелегко.
 И чтоб отметить это чудо,
 Все стали чествовать верблюда.
 Он — сверхверблюд!

Громадный труд!
 Какая нужная работа!
 Вдруг замечает где-то кто-то:
 За этот труд ему хвала и честь,
 Но вот что он туда пролез — понятно,
 А вот пускай попробует пролезть обратно.
 Верблюд рассвирепел как бес,
 Полез обратно — и пролез!
 И вот его все знают города,
 Его снимают все, о нем уж пишут книжки.
 А наш верблюд — туда-сюда,
 Туда-сюда без передышки.
 Натер себе бока и холку
 И наконец сломал иголку.
 Мораль: у нас неповторимая эпоха.
 Но вот иголки делаем мы плохо.

Что ни говори, но уж ЭТА мораль из рассказанного нам басенного сюжета ну никак не вытекает. Хотя сама по себе, никак с этим сюжетом и не связанная, наверно, содержит в себе некую несомненную истину, о которой авторам и хотелось поведать читателям.

Как стрелка компаса на север, мораль каждой их басни неизменно и неуклонно была нацелена НА ПРАВДУ. И правда эта далеко не всегда так примитивно проста и даже мелочна, как в случае с верблюдом и плохими иголками. Сплошь и рядом — это весьма серьезная и даже глубокая правда.

Взять хотя бы такую их басню —

ФРЕЙДИСТ

Один фрейдист, придя из института
 К себе домой,

Узрел ученика, который почему-то
Сидел на канапе с его женой.

Причем сидел в такой нелепой позе.
Что ни в стихах не выразить, ни в прозе.

Ученый головой поник:
Моя жена и мой же ученик!
Что может означать подобное явление!
Должно же быть ему у Фрейда объяснение!
Допустим, что он в ней свою увидел мать.
Но все же этот факт какого будет типа?
“Нарцизм” ли это?
Комплекс ли Эдипа?
Как мне точнее всего его назвать?
А ларчик просто открывался,
И очень просто назывался.

Вот так и мы порой, как комики,
Ответа ищем в экономике.
А он один и там и тут:
Ее е... т,
И нас е... т.

При всей своей, казалось бы, предельной удаленности от классической басенной традиции эта басня Масса и Эрдмана как раз наиболее к ней близка. Недаром в нее даже органично вплелась прямая цитата из дедушки Крылова: “А ларчик просто открывался”.

Ход размышлений и колебаний ученого фрейдиста из этой басни и впрямь того же свойства, что направление мыслей у крыловского умельца-механика:

Вглянув на Ларчик, он сказал: “Ларец с секретом”.
Так: он и без замка;
А я берусь открыть; да, да, уверен в этом.

Не смейтесь так исподтишка!
 Я отыщу секрет, и Ларчик вам открою.
 В механике и я чего-нибудь да стою”.
 Вот за Ларец принялся он:
 Вертит его со всех сторон
 И голову свою ломает,
 То гвоздик, то другой, то скобку пожимает.
 Тут, глядя на него, иной
 Качает головой,
 Те шепчутся, а те смеются меж собой...

Вот так же, наверно, качали головами, шептались и смеялись меж собой и друзья-приятели ученого фрейдиста, который, увидав жену в объятиях ученика, в соответствии с законами своей науки, стал ломать голову: что бы это могло значить:

“Нарцизм” ли это?
 Комплекс ли Эдипа?

А дело, между тем, было такое же ясное, как с крыловским Ларчиком.

Одно только непонятно: при чем тут экономика?

А экономика, как это сразу же и выясняется, тут при том, что у нас с нею делают именно то, что ученик высокоумного фрейдиста делал с его женой. А чтобы понять это, надо было обратиться не к Фрейдю, а к Марксу, который открыл закон стоимости. Ну и, конечно, к Сталину, который объявил, что при социализме этот закон действует “в преобразованном виде”.

Говоря попросту, это означало, что экономику у нас насилуют. А уж вслед за ней — и нас, пользующихся плодами этой самой изнасилованной экономики.

Строго говоря, если пресловутый, якобы открытый Марксом закон стоимости, — это действительно ЗА-

КОН, то действовать в “преобразованном виде” он не может. (С равным успехом можно было бы объявить, что и ЗАКОН НЬЮТОНА при социализме тоже действует “в преобразованном виде”.)

Честнее было бы сказать, что пресловутый ЗАКОН СТОИМОСТИ при социализме вообще не действует. Что он — ОТМЕНЕН, как оно, в сущности, и было. И вот поэтому-то авторы басни употребили в этом случае словцо не из ряда нормативной лексики, сказав, что экономику у нас насилуют, а выразились грубо, по-матерному. Это грубое матерное слово с гораздо большей точностью выражало суть описываемого явления, чем любой интеллигентный эвфемизм. Так что обращение к ненормативной лексике в этом случае было продиктовано отнюдь не хулиганством, а стремлением как можно точнее выразить самую суть дела. То есть стремлением к предельной художественной ПРАВДЕ.

Точно так же обстоит дело и в уже известной нам басне “Очковтирательство”:

Кричат: ура!

Кричат: пора!

А не выходит ни хера.

Напиши авторы вместо последней строки, скажем: “А не выходит ничего”, не только художественный эффект, но и уровень ПРАВДЫ был бы тут уже совсем другой.

Такова самая суть эстетики, лучше даже сказать ПОЭТИКИ этих басен.

Принцип всюду один. Нет рифмы, говорите вы? Мораль не вытекает из басенного сюжета и самого содержания басни? Что ж: ЗАТО ПРАВДА.

СМЕТАНА

Мы любим подмечать у недругов изъяны,
И направлять на них насмешек острие.

Однажды молоко спросило у сметаны:
— Скажите, вы еда или питье?

Сметана молвила:

— Оставьте ваши шутки!
Действительно, я где-то в промежутке.
Но ведь важна не эта сторона,
Всего важнее то, что я вкусна,
И все, как правило, бывают мною сыты.

Вот так же точно и гермафродиты:
Тот, кто на свет их произвел,
Конечно, допустил ужасную небрежность.
Но ведь в конце концов
Существенен не пол,
А классовая принадлежность.

Спор молока со сметаной с темой гермафродитов еще как-то более или менее сообразуется. Ведь они тоже — неведомо что. То ли еда, то ли питье...

Но при чем тут классовая принадлежность?

А при том, что так оно и было тогда на самом деле. Классовая принадлежность была важнее, чем образованность, ум, талант, честь, благородство и все прочие человеческие качества. Такова была официальная установка.

Вспомним знаменитый диалог Сталина с Гербертом Уэллсом.

Уэллс сказал, что не согласен с “упрощенной классификацией человечества на богатых и бедных”:

Разве на Западе мало людей, для которых нажива не цель, которые обладают известными средствами, хотят

их инвестировать, получают от этого прибыль, но совсем не в этом видят цель своей деятельности?.. Разве мало талантливых и преданных инженеров, организаторов хозяйства, деятельность которых движется стимулами совсем иными, чем нажива? По-моему, имеется многочисленный класс попросту способных людей, сознающих неудовлетворительность нынешней системы и призванных сыграть большую роль в будущем, социалистическом обществе. Я много занимался последние годы и много думал о необходимости пропаганды идей социализма и космополитизма в широких кругах инженеров, летчиков, в военно-технических кругах и т. д. Подходить к этим кругам с прямолинейной пропагандой классовой борьбы — бесцельно. Это круги, понимающие, в каком состоянии находится мир, превращающийся в кровавое болото, но эти круги считают ваш примитивный антагонизм классовой борьбы нонсенсом.

Сталин отвечает:

Вы возражаете против упрощенной классификации людей на богатых и бедных. Конечно, есть средние слои, есть и та техническая интеллигенция, о которой Вы говорите и в среде которой есть очень хорошие, очень честные люди. Есть в этой среде и нечестные, злые люди. Всякие есть. Но прежде всего человеческое общество делится на богатых и бедных, на имущих и эксплуатируемых, и отвлечься от этого основного деления и от противоречия между бедными и богатыми — значит отвлечься от основного факта.

*(И.В. Сталин. Сочинения. Т. 14.
М., 2007. С. 17–18)*

Конечно, авторы басни издевались и над этой теоретической сталинской установкой, но в особенности над тем, как развернулась она на практике тогдашнего советского государства. “Классовая принадлежность” была категорией не просто важной, а во многих (почти во всех) случаях решающей. Достаточно сказать, что существовали официально утвержденные льготы для приема в вузы детей рабочих и крестьян. Константин Симонов, например, чтобы получить доступ к высшему образованию, должен был сперва поработать на заводе, а потом пройти через рабфак, чтобы замолить таким образом свое “непролетарское” происхождение. Больше того! Существовали такие же установки и для профессоров: вполне официально им предлагалось студентам пролетарского происхождения завышать оценки, а непролетарского — занижать...

Конечно, неоднократное обращение авторов крамольных басен к ненормативной лексике уже само по себе давало основания обвинить их в хулиганстве и сшить им какое-нибудь дело. Тем более что скандал на приеме в честь японского посла, когда Качалов прочел злополучные басни, проявился, как рассказывали, в гневной реплике Ворошилова:

— Кто автор этих хулиганских стихов?

Но ГПУ, коль оно уже занялось этим вопросом (а не заняться им теперь оно уже не могло), гораздо больше заинтересовало, куда, как выразался в таких случаях М.М. Зощенко, “направлено жало этой художественной сатиры”.

У классиков (Лафонтена, Крылова, того же Эзопа) эти их сатирические жала были направлены в разные стороны. Классики своими баснями бичевали самые раз-

нообразные пороки, изъяны и слабости человеческой природы. А тут дело явно выглядело иначе. При всей жанровой и содержательной пестроте этих басен Эрдмана и Масса мишень для их сатирических стрел всегда была одна.

Взять хоть вот эту, самую коротенькую (говорили, что в тот злополучный вечер она тоже была прочитана Качаловым):

ВОРОНА И СЫР

Вороне где-то Бог послал кусочек сыру.

Читатель скажет: Бога нет!

Читатель, милый, ты придира!

Да, Бога нет. Но нет и сыра.

Или — эту, тоже короткую:

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ ОСЕЛ

Мы пишем не для похвалы,

А для внушения морали.

В лесу однажды все ослы

Вдруг диалектиками стали.

Но так как страшный произвол

Царит сейчас во всей вселенной,

Диалектический осел

Глуп так же, как обыкновенный.

Мириться с тем, что к власти пришли “диалектические ослы”, от которых теперь все зависит, было, конечно, нелегко. Но даже и с этим можно было смириться, пока оставалась возможность выкричатся. Хоть в баснях:

НЕПРЕЛОЖНЫЙ ЗАКОН

Мы обновляем быт
И все его детали.

“Рояль был весь раскрыт
И струны в нем дрожали..”

— Чего дрожите вы? — спросили у страдальцев
Игравшие сонату десять пальцев.

— Нам нестерпим такой режим,
Вы бьете нас — и мы дрожим!..

Но им ответствовали руки,
Ударивши по клавишам опять:
— Когда вас бьют, вы издаете звуки,
А если вас не бить, вы будете молчать.

Смысл этой краткой басни ясен:
Когда б не били нас,
Мы б не писали басен.

Обратившись к презренной прозе, можно выразиться еще яснее. Да, “нам нестерпим такой режим”, но мы готовы мириться с ним, пока у нас еще остается возможность сказать об этом вслух.

Но то-то и дело, что при этом режиме сложилась принципиально иная ситуация. Режим властно сказал: “Не надо басен!” И об этом — еще одна их басня, помимо той, которую мы уже знаем:

СЛУЧАЙ В ГАРЕМЕ

Однажды наклонилась близко,
К младому евнуху младая одалиска.
А деспотичный шах меж тем

Уже успел войти в гарем.
 — Ага! В гареме?
 Ночью?.. Вместе? —
 Воскликнул шах. — Я жажду мести!
 Какой позор! Какой скандал!
 Тут визирь шаху так сказал:
 — Зачем же звать его к ответу?
 Почто ему готовишь месть?
 О, шах! У евнуха ведь нету!
 — Но у нее, мерзавки, есть!
 — Пойми, лишен он этой штуки!
 — А руки?
 Срубить!
 Палач взмахнул мечом,
 И руки стали ни при чем.
 Но оказался в дураках
 Представьте, все же старый шах.
 Над шахом евнух долго издевался:
 Язык-то у него остался!

 Сколь наша участь более горька:
 У нас есть то и сё,
 Но нету языка.

В ту же мишень (в советскую власть) било и такое их короткое ироническое стихотворение:

Поэт

Один поэт, свой путь осмыслить силясь,
 Хоть он и не был Пушкину сродни,
 Спросил: “Куда вы удалились,
 Весны моей златые дни?”

Златые дни ответствовали так:
 — Мы не могли не удалиться,

Раз здесь у вас такой бардак
И вообще, черт знает что творится!

Златые дни в отсталости своей
Не понимали наших дней.

В общем, что говорить! ГПУ было чем поживиться, когда оно нанесло свой визит “Эзопу”.



Сосланный в Сибирь (в Енисейск) Николай Робертович свои письма к матери неизменно подписывал “Мамин сибиряк”. И шутку эту со смехом повторяла вся Москва.

Доходили до московских друзей и другие его шуточки, далее не всегда безопасные.

С электричеством в Енисейске дело обстояло не больно хорошо. Попросту говоря, его там не было. Во всяком случае, в той халупе, которую Эрдману удалось снять, о “лампочке Ильича” можно было только мечтать. А Эрдман любил читать. Особенно вечерами, иногда даже по ночам. И постоянно думающая о нем его возлюбленная (А.О. Степанова), засыпавшая его посылками, заказала какому-то театральному умельцу особый электрический фонарь, работающий на батарейках. Отправляя его в Енисейск, Ангелина Осиповна очень волновалась: дойдет? И если дойдет, будет ли работать?

Затая удалась, о чем от Николая Робертовича в тот же день полетели в Москву телеграммы:

“Енисейск. 26.12 часов. (Молния от ваш. корр.) “Закончена прокладка линии электропередачи Стол—Кровать протяжением 3 метра”.

“Енисейск. 26. 24 часа. (Молния от ваш. корр.) “Пуск первой мощной электростанции в условиях Севера прошел образцово. Все обслуживающие механизмы работают отлично. За первые два часа прочитано четыре главы “Исповеди” Жан-Жака Руссо”.

“Начальнику строительства А.О. Степановой. Постройка енисейской электростанции — новый вклад в дело дальнейшего подъема нашей страны и Вашего в моих глазах. ЦК”.

*(Письма. Николай Эрдман, Ангелина Степанова.
Предисловие и комментарии Виталия Вульфа.
М., 2007. С. 126)*

Попадись эти телеграммы на глаза тем, КОМУ НАДО, они вполне могли быть истолкованы (и вряд ли были истолкованы иначе) как издевательская пародия на знаменитый ленинский план ГОЭЛРО. А учитывая подпись (ЦК), так даже и как злобный пасквиль на сталинский план индустриализации страны. Хотя подпись эта (в той же телеграмме) расшифровывалась самым невинным образом: “Целую Коля”.

Не умеряя постоянных своих забот о возлюбленном, Ангелина Осиповна добивалась — и нечеловеческими усилиями добилась — его перевода из Енисейска в Томск. Томск, как-никак, был университетский город, для Сибири — большой культурный центр, и она полагала, что ему там — во всех смыслах — будет лучше, чем в заштатном, захудалом Енисейске.

План удался. Но удача эта обернулась для Эрдмана разными, мягко говоря, неудобствами и даже унижениями.

Начать с того, что в Томск он был отправлен “по этапу”, с конвойными, что уже само по себе было до-

вольно-таки неприятно. А оказавшись наконец в этом вожделенном Томске, долго не мог сыскать для себя маломальски сносное пристанище.

Об этих своих мытарствах он любимой сообщал так:

...Плачусь у парикмахеров, останавливаю на улицах прохожих, изучаю бумажки на столбах — всё тщетно. Вчера дал объявление в газету, боялся, пропустит ли цензура. Опасения оказались напрасными — поместили целиком. Как видишь, всё идет к лучшему, меня уже стали печатать.

А просьбу прислать каких-нибудь книг сопровождал такой сентенцией:

В здешних магазинах, кроме портретов вождей, ничем не торгуют. А томская библиотека похожа на томскую столовую — меню большое, а получить можно одни пельмени или Шолохова.

(Там же. С. 247)

За все эти милые шуточки — и над цензурой, и над пельменями, и над Шолоховым, не говоря уже о портретах вождей, — ему вполне могли намотать новый срок.



28 сентября 1940 года в “Известиях” появилась такая заметка, подписанная Михаилом Долгополовым:

По инициативе Л.П. Берия создан ансамбль песни и пляски НКВД Союза ССР. Состоялось первое выступление ансамбля. Большая Программа скомпонована в

обозрение “По родной земле”. Тема его — жизнь счастливой родины, неусыпно охраняемой чекистами и пограничниками. Коллектив ансамбля под руководством композитора З. Дунаевского создал веселое, жизнерадостное представление.

Через несколько дней (2 октября) такой же заметкой, подписанной О. Кургановым, на эту инициативу Лаврентия Павловича откликнулась “Правда”:

Режиссером этой программы является С. Юткевич, а художником — П. Вильямс. Они придали ей подлинную красочность, внесли в нее много выдумки, остроумия и веселья.

Лаврентию Павловичу, видимо, не давали покоя лавры знаменитого в то время ансамбля песни и пляски Красной армии, которым руководил А.В. Александров, будущий создатель музыки советского гимна. Вот он и решил создать ансамбль своего ведомства. И такой, чтобы он не уступал, а может быть, даже и превосходил знаменитый Краснознаменный.

Возможности для этого у него, как вы понимаете, были большие. Можно сказать — неограниченные.

Главным режиссером Ансамбля песни и пляски при центральном клубе НКВД (таково было официальное название ансамбля) стал Сергей Юткевич.

Вот как он вспоминает о возникновении и формировании этого ансамбля:

Формирование труппы произошло без затруднений и в сжатые сроки. Были подобраны сильный танцевальный коллектив, хороший хор, квалифицированный ор-

кестр. Художественным руководителем назначили, как верно сказано в заметке Долгополова, Зиновия Дунаевского. Балетмейстерами были Асаф Мессерер и Касьян Голейзовский, хормейстером — Александр Свешников, художником — Петр Вильямс. Я заявил начальству, что теперь нужны первоклассные драматурги и хотелось бы работать с Михаилом Вольпиным и Николаем Эрдманом. Их в то время — по обстоятельствам, от них не зависевшим, — не было в Москве.

Через несколько дней оба литератора уже примеряли форму (ансамбль, естественно, был военизированным)...

Добавлю, что драматическим коллективом позднее руководил один из корифеев Художественного театра — Михаил Тарханов. Двумя главными действующими лицами первой программы, основанной, естественно, на либретто М. Вольпина и Н. Эрдмана, были молодые пограничники... Их играли Леонид Князев и Юрий Любимов. Все было решено в мажоре, а декорации и костюмы поражали великолепием. Премьера второй программы — “Отчизна” — состоялась в очень трудное для страны время — в ноябре 1942 года, когда шли бои в Сталинграде. Еще перед этим я сделал фронтовой вариант обозрения “По родной земле” (опять-таки с Вольпиным и Эрдманом. — *М.Д.*), и с ним коллектив ездил по армейским частям и три месяца пробыл в блокадном Ленинграде. Понятно, что содержание “Отчизны” было целиком военно-патриотическим...

В “Отчизне” впервые прозвучала написанная по заказу ансамбля песенка “Фонарики”, мгновенно подхваченная в тылу и на фронте. Ее автор — композитор Дмитрий Шостакович — вообще постоянно сотрудничал с ан-

самблем. <...> Третью программу — “Русская река” — делал Рубен Симонов..”

*(Н. Эрдман в воспоминаниях С. Юткевича.
Николай Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма.
Документы. Воспоминания современников.
М., 1990. С. 360–361)*

Публикатор этих воспоминаний (М. Долинский) реплику С. Юткевича о том, что Эрдмана и Вольпина “в то время — по обстоятельствам, от них не зависевшим, — не было в Москве”, комментирует так:

Мемуары писались Юткевичем в те годы, когда о репрессиях сталинского времени приходилось говорить глухо. Да и то это проходило цензуру с трудом, а иногда и не проходило. На самом деле Вольпин и Эрдман были арестованы и сосланы.

(Там же)

На самом деле и Эрдман, и Вольпин (в 1933-м он тоже был сослан в Сибирь — как было сказано в приговоре: “За антисоветские настроения”) в то время, о котором рассказывает Юткевич, ссыльными уже не были.

19 октября 1936 года Николай Робертович получил справку Томского горотдела НКВД об отбытии срока ссылки с правом выбора места жительства “минус шесть” городов и переехал в Калинин. В последующие годы — до войны — жил в Вышнем Волочке, Торжке, Рязани. С ансамблем НКВД он начал сотрудничать в 1939-м. (По приглашению А.М. Мессерера работал над сценарием театрализованного представления “По родной земле”.)

В первые месяцы войны он был административно выслан из Рязани, где тогда жил, как бывший ссыльный

с еще не снятой судимостью. Написал заявление с просьбой зачислить его добровольцем в РККА. Получил отказ. Но уже в августе — в Ставрополе — был призван по мобилизации и зачислен в саперную часть. С отступающими частями Красной армии прошел пешком 600 километров и оказался в Саратове. И уже только тут — в декабре 1942-го, — находясь на излечении в госпитале, получил вызов в Москву для зачисления в Ансамбль песни и пляски НКВД. Это уже, наверно, стараниями С. Юткевича.

Его же стараниями был вызван и зачислен в ансамбль и М.Д. Вольпин.

Вот тут-то Николай Робертович и произнес знаменитую свою шуточку.

В ансамбле их приодели, приобули, подкормили. Вот только Эрдману никак не могли подобрать приличную шинель. Наконец подобрали — и не просто приличную, а по тем временам просто великолепную, только что не генеральскую. А они с Вольпиным жили тогда в какой-то мансарде, и у них там было большое зеркало. И вот подходит Николай Робертович в этой новой своей — офицерской, энкавэдэшной — шинели к зеркалу, смотрит на себя и говорит:

— Миша, мне кажется, за мною опять пришли.

Шутка была невеселая.

Страх, что за ним в любой момент могут “опять прийти”, преследовал его долгие годы.

Вскоре после войны, в 1946 году, Большой театр стал строить дом для артистов. К моему великому счастью, я попала в это строительство, правда, с большими трудностями. Дом построили в 1950 году, и мы въехали в трехкомнатную квартиру на улице Горького. Счастью

нашему не было предела... Надо было идти прописываться. Николай Робертович сказал: “Как хочешь, но я в милицию не пойду”. Я взяла паспорта и пошла на трясущихся ногах прописываться. Паспорта взяли и прописали. У Николая Робертовича с 1951 года уже был “чистый” паспорт. Но вечный страх остался.

Помню, когда мы наконец переехали в новую квартиру, ночью в три часа раздался звонок в дверь. “Пришли!” — подумали мы оба. Я подошла к двери и замирающим голосом спросила: “Кто там?” И в ответ услышала два голоса: Бориса Ливанова и Алексея Дикого, которые, где-то недопив, решили прийти к Колечке. Услышав их голоса, мы так обрадовались, что тут же усадили, накормили, напоили и были счастливы, что это они, а не КГБ. Прошла неделя, и опять ночью звонок, я уже посмелее подошла к двери и услышала то же самое: “Это мы, к Колечке”. Уже менее приветливо мы их опять напоили и накормили.

Им, видно, это понравилось, и через неделю опять то же самое. Тогда я не выдержала и сказала им: “Чтобы больше вашей ноги здесь не было. Вы что, не понимаете, что такое ночные звонки в наше время? Днем — пожалуйста, а ночью — не смей!” Ночные визиты прекратились.

*(Н. Чидсон. Радость горьких лет. Николай Эрдман.
Пьесы. Интермедии. Письма. Документы.
Воспоминания современников. М., 1990. С. 350–351)*

Только смерть Сталина, быть может, освободила его от этого постоянного страха. Да и то — вряд ли.

Всё-таки раздавил

“Нам бы нужно встретиться, поговорить...”

Эту реплику вождь кинул в знаменитом своем телефонном разговоре с Булгаковым 18 апреля 1930 года.

О чем там шла речь, мы знаем по воспоминаниям Л.Е. Белозерской и Е.С. Булгаковой.

Л.Е. Белозерская, вспоминая об этом разговоре, коего она была единственной свидетельницей (и даже слушательницей), в подробности не вдается:

Однажды, совершенно неожиданно, раздался телефонный звонок. Звонил из Центрального Комитета партии секретарь Сталина Товстуха. К телефону подошла я и позвала М.А., а сама занялась домашними делами. М.А. взял трубку и вскоре так громко и нервно крикнул: “Любаша!”, что я опрометью бросилась к телефону (у нас были отводные от телефона наушники).

На проводе был Сталин. Он говорил глуховатым голосом, с явным грузинским акцентом и называл себя в

третьем лице. “Сталин получил, Сталин прочел...” Он предложил Булгакову:

— Может быть, вы хотите уехать за границу?

(Незадолго перед этим по просьбе Горького был выпущен за границу писатель Евгений Замятин с женой.)

Но М.А. предпочел остаться в Союзе.

*(Воспоминания о Михаиле Булгакове.
М., 2006. С. 394)*

Елена Сергеевна Булгакова в своих воспоминаниях передает этот разговор (уже со слов Михаила Афанасьевича) более подробно:

...18 апреля часов в 6–7 вечера он прибежал, взволнованный, в нашу квартиру (с Шиловским) на Бол. Ржевском и рассказал следующее. Он лег после обеда, как всегда, спать, но тут раздался телефонный звонок, и Люба его подозвала, сказав, что из ЦК спрашивают.

М.А. не поверил, решил, что это розыгрыш (тогда это проделывалось), и взъерошенный, раздраженный взялся за трубку и услышал:

— Михаил Афанасьевич Булгаков?

— Да, да.

— Сейчас с вами товарищ Сталин будет говорить.

— Что? Сталин? Сталин?

И тут же услышал голос с явно грузинским акцентом:

— Да, с вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков (или — Михаил Афанасьевич — не помню точно).

— Здравствуйте, Иосиф Виссарионович.

— Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами.

Вы будете по нему благоприятный ответ иметь. А может быть, правда — вы проситесь за границу? Что мы вам — очень надоели?

М.А. сказал, что он настолько не ожидал подобного вопроса (да он и звонка вообще не ожидал) — что растерялся и не сразу ответил.

— Я очень много думал в последнее время — может ли русский писатель жить вне Родины. И мне кажется, что не может.

— Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?

— Да, я хотел бы. Но я говорил об этом, и мне отказали.

— А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами.

— Да, да, Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить.

— Да, нужно найти время и встретиться, обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего.

*(Михаил и Елена Булгаковы.
Дневник Мастера и Маргариты.
М., 2001. С. 497)*

Этот разговор многократно печатался, перепечатывался, комментировался. О нем существует целая литература.

Как же трактуют комментаторы смысл и итог этого разговора?

Практически все они дуют в одну дуду. И “дуда” эта издает весьма мажорные звуки.

Разделить их можно на две группы, по правде говоря, не слишком одна от другой отличающиеся.

Комментаторы первой группы поют осанну великому и мудрому Сталину, который протянул руку помощи гибнущему писателю, спас его от гибели, вдохнул

в него новые творческие силы, решил все мучившие его проблемы, воскресил для новой жизни:

Булгаков обращался за защитой к людям, к которым в том же приснопамятном году обратился, уходя из жизни, Маяковский с письмом, начинающимся словами: “Товарищ Правительство”. И слова из “Баллады о синем пакете” Николая Тихонова “Но люди в Кремле никогда не спят” (а людям этим русские писатели крепко верили) — невольно вспоминаются, когда читаешь записанный Е.С. Булгаковой со слов писателя его разговор с И.В. Сталиным, позвонившим Булгакову через три недели после того, как письмо было отправлено. “Этот телефонный звонок вернул Булгакова к творческой жизни”, — пишет Петелин.

*(И.Ф. Бэлза. Генеалогия “Мастера и Маргариты”.
“Контекст”. 1978)*

К этому стоит добавить, что В. Петелин, на которого ссылается и к которому присоединяется автор этого комментария, достиг вершины комического идиотизма, заключив свой комментарий таким жизнеутверждающим выводом:

И писатель занялся своим любимым делом: стал работать помощником режиссера во МХАТе.

Суть-то дела как-никак в том, что заниматься его любимым делом писателю как не давали до его телефонного разговора со Сталиным, так не дали и после этого “спасшего его” разговора.

Вторая группа комментаторов сосредоточилась на прославлении патриотических чувств писателя, ответив-

шего Сталину, что после долгих размышлений он пришел к выводу, что русский писатель вне родины жить не может.

Смысл этого “патриотического” сюсюканья с исчерпывающей ясностью выразил Ярослав Смеляков в двестишести, венчающем его стихотворение о трагической судьбе князя Святополк-Мирского, вернувшегося из эмиграции на Родину и сгинувшего в сталинских застенках:

Но лучше уж русскую пулю
На русской земле получить.

К вопросу о том, какого мнения на этот счет держался Михаил Афанасьевич Булгаков, мы еще вернемся. Пока же отметим, что в глазах всех комментаторов (включая обеих мемуаристок) реплика Сталина о том, что им с Булгаковым надо бы встретиться и поговорить, была в том разговоре не из самых важных.

Для Булгакова же в его разговоре со Сталиным самой важной была именно она.



Смысл этого разговора нельзя понять иначе, чем взглядевшись и вдумавшись в него, имея перед глазами “дело Булгакова” в том виде, в каком оно легло на стол Сталина перед тем, как тот принял решение лично поговорить с писателем, воззвавшим к нему как к единственной надежде на спасение.

Итак:

В июле 1929 года М.А. Булгаков обращается к “Генеральному Секретарю партии И.В. Сталину, Председателю Ц.И. Комитета М.И. Калинин, Начальнику Гла-

в искусства А.И. Свидерскому, Алексею Максимовичу Горькому” с ЗАЯВЛЕНИЕМ, в котором пишет, что — “не будучи в силах более существовать, затравленный, зная, что ни печататься, ни ставиться более в пределах СССР” ему нельзя, и “доведенный до нервного расстройства”, он обращается ко всем вышепоименованным лицам (а по существу, конечно, к Сталину) с просьбой — “ОБ ИЗГНАНИИ МЕНЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ СССР ВМЕСТЕ С ЖЕНОЮ МОЕЙ Е.С. БУЛГАКОВОЙ, которая к прошению этому присоединяется”.

30 июля того же года начальник Главискусства РСФСР А.И. Свидерский докладывает секретарю ЦК ВКП(б) А.П. Смирнову о своей встрече и продолжительной беседе с Булгаковым. Сообщает, что тот произвел на него впечатление человека затравленного и обреченного и даже нервно не вполне здорового. По его впечатлению Булгаков хочет, во всяком случае, готов сотрудничать с советской властью, но ему “не дают и не помогают в этом”. При таких условиях он считает, что просьба писателя о высылке его с женой из страны является справедливой и ее надо удорвлетворить.

3 августа того же года секретарь ЦК А.П. Смирнов пересылает Молотову заявления Булгакова и письмо Свидерского и просит разослать их членам и кандидатам Политбюро. Сам он при этом высказывается в том смысле, что отношение к Булгакову надо изменить. Не травить его, а “перетянуть на нашу сторону”. Что же касается просьбы писателя о высылке его за границу, то ее надо отклонить, поскольку “выпускать его за границу с такими настроениями — значит увеличивать число врагов”.

28 марта 1930 года Булгаков, не дождавшись никакого ответа на свое “Заявление”, пишет душераздираю-

щее послание “Правительству СССР” (по существу, конечно, Сталину), в котором говорит:

Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя, в отечестве, великодушно отпустить на свободу.

14 апреля — то есть через две недели после того, как он отправил это письмо, — застрелился Маяковский.

Сталин звонит Булгакову 18-го — на другой день после похорон покончившего с собой поэта.

Не может быть сомнений, что между этими двумя событиями есть прямая связь.

После потрясшего страну и мир самоубийства Маяковского Сталину только не хватало еще одного самоубийства доведенного до отчаяния известного писателя.

Цель, которую Сталин хотел достичь этим своим звонком, очевидна. Надо было успокоить находившегося в нездоровом нервном состоянии драматурга, как-то разрядить ситуацию, если не разрешить, так хоть смягчить ее.

Разрешить эту ситуацию, то есть развязать этот трагический узел, Сталин не мог. Ведь развязать его можно было лишь двумя способами.

“Я прошу принять во внимание, что невозможность писать равносильна для меня погребению заживо”, — писал в своем письме Булгаков.

То же самое — слово в слово — год спустя напишет ему Замятин:

...приговоренный к высшей мере наказания — автор настоящего письма — обращается к Вам с просьбой о замене этой меры другою.

Невозможность писать и печататься для художника — смерть. Альтернатива этой “высшей мере наказания” может быть только одна: высылка за границу.

Но дать команду печатать Булгакова и ставить его пьесы Сталин не мог. (О том, почему не мог — чуть позже.) А почему не мог удовлетворить его просьбу о высылке из СССР, мы уже знаем: “Выпускать его за границу с такими настроениями — значит увеличивать число врагов”.

Что ему оставалось делать в этой ситуации?

Только одно: принять вариант, который предложил ему в своем письме сам Булгаков:

Я прошу о назначении меня лаборантом-режиссером в 1-й Художественный Театр — в лучшую школу, возглавляемую мастерами К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко.

Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя — я прошусь на должность рабочего сцены.

Если же и это невозможно, я прошу Советское Правительство поступить со мной, как оно найдет нужным, но как-нибудь поступить, потому что у меня, драматурга, написавшего 5 пьес, известного в СССР и за границей, налицо, В ДАННЫЙ МОМЕНТ, — нищета, улица и гибель.

Это была истерика. Или, если угодно, метафора. Не всерьез же он предлагал назначить себя на должность статиста или рабочего сцены.

Услышав первую фразу Сталина: “Мы ваше письмо получили... Вы будете по нему благоприятный ответ иметь”, — он преисполнился надежд. Благоприятным

ответом для него мог быть только один: снятие запрета на его пьесы. То есть отмена “высшей меры наказания”. Или — на крайний случай — замена этой “высшей меры” другой: высылкой за границу.

На этот альтернативный вариант “благоприятного ответа” Сталин намекнул следующей своей фразой: “А может быть, правда — вы проситесь за границу? Что мы вам — очень надоели?”

Обнадеженный уверением вождя, что ответ на его письмо будет благоприятный, то есть надеясь на отмену запрета на свои пьесы, Булгаков отвечает:

— Я очень много думал в последнее время — может ли русский писатель жить вне Родины. И мне кажется, что не может.

Ответ вождю понравился:

— Вы правы. Я тоже так думаю.

Ну вот! Слава Богу! Сейчас, значит, последует этот обещанный ему “благоприятный ответ”.

И тут — как ушат холодной воды на голову:

— Вы где хотите работать? В Художественном театре?

Обескураженный Булгаков мямлит:

— Да, я хотел бы... Но они...

Смертный приговор не отменен. А от замены “высшей меры” высылкой за границу он только что сам отказался.

В чем же, в таком случае, состоит этот обещанный ему “благоприятный ответ”? Только в том, что с голоду умереть не дадут?

Это был полный крах.

В ответ на свое душераздирающее письмо Булгаков, в сущности, НЕ ПОЛУЧИЛ НИЧЕГО.

Казалось бы, тут впору впасть уже в совершенней-

шее отчаяние. Но вопреки логике и здравому смыслу, этот разговор со Сталиным не только не ослабил, но даже упрочил его надежды на благоприятное решение его писательской судьбы.

Спустя год (в июле 1931 года) он пишет Вересаеву:

У гражданина шли пьесы, ну, сняли их, и в чем дело? Почему этот гражданин, Сидор, Петр или Иван, будет писать и во ВЦИК и в Наркомпрос, и всюду всякие заявления, прошения, да еще об загранице?! А что ему за это будет? Ничего не будет. Ни плохого, ни хорошего. Ответа просто не будет. И правильно, и резонно. Ибо ежели начать отвечать всем Сидорам, то получится форменное вавилонское столпотворение.

Вот теория, Викентий Викентьевич! Но только и она никуда не годится. Потому что в самое время отчаяния, нарушив ее, по счастью, мне позвонил генеральный секретарь год с лишним назад. Поверьте моему вкусу: он вел разговор сильно, ясно, государственно и элегантно. В сердце писателя зажглась надежда: оставался только один шаг — увидеть его и узнать судьбу.

*(М. Булгаков. Собрание сочинений в пяти томах.
Том пятый. М., 1990. С. 461–462)*

Так что же, он, стало быть, ничего не понял? Не понял, что Сталин его обманул? Что обещанный ему “благоприятный ответ” обернулся пшиком?

Нет, это он понял. Но фраза Сталина “Нам бы надо встретиться, поговорить” его зачаровала. Вот они встретятся, и он все ему объяснит... И тогда...

Он был уверен, что его встреча с вождем — не за горами. Она состоится в самые ближайшие дни.

Не дождавшись обещанного продолжения разговора, всего через три недели после сталинского звонка — 5 мая — он решается напомнить Сталину о себе:

Я не позволил бы себе беспокоить Вас письмом, если бы меня не заставляла сделать это бедность.

Я прошу Вас, если это возможно, принять меня в первой половине мая. Средств к спасению у меня не имеется.

Ответа на это письмо он не получил.

Это, надо думать, его несколько отрезвило.

Но прошел год, и он снова (30 мая 1931 года) обращается к Сталину с большим посланием, в котором просит все-таки отпустить его за границу. На этот раз не навсегда, а только до осени. При этом он ясно и определенно дает понять, что, несмотря ни на что, твердо решил остаться жить и работать на Родине:

“Такой Булгаков не нужен советскому театру”, — написал нравоучительно один из критиков, когда меня запретили.

Не знаю, нужен ли я советскому театру, но мне советский театр нужен как воздух.

Но главная цель этого его послания — другая. В конце письма он прямо напоминает вождю о его обещании встретиться и поговорить:

Если нужны какие-нибудь дополнительные объяснения к этому письму, я их дам тому лицу, к которому меня вызовут.

Но, заканчивая письмо, хочу сказать Вам, Иосиф Вис-

сарионович, что писательское мое мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам.

Поверьте, не потому только, что вижу в этом самую выгодную возможность, а потому, что Ваш разговор со мной по телефону в апреле 1930 года оставил резкую черту в моей памяти.

Вы сказали: “Может быть, вам действительно нужно ехать за границу...”

Я не избалован разговорами. Тронутый этой фразой, я год работал не за страх режиссером в театрах СССР.

Но и на это письмо он не получил ответа.

Казалось бы, уж теперь-то можно было кое-что понять. И “кое-что” он, надо думать, понял. Но по-прежнему продолжал видеть в Сталине своего заступника. Единственного, к которому в крайнем случае всегда может обратиться.

Когда после долгих издевательств ему прямо дали понять, что никакая заграница — даже на время — ему не светит, он снова пишет Сталину:

Многоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Разрешите мне сообщить Вам о том, что со мною произошло.

Начало, согласитесь, несколько странное.

Как бы ни было возмутительно и даже чудовищно то, что с ним произошло, с какой стати он должен сообщать об этом именно Сталину? Ведь три года тому назад он сам писал Вересаеву:

Почему этот гражданин, Сидор, Петр или Иван, будет писать и во ВЦИК и в Наркомпрос, и всюду всякие за-

явления, прошения, да еще об загранице?!.. Ответа просто не будет. И правильно, и резонно. Ибо ежели начать отвечать всем Сидорам, то получится форменное вавилонское столпотворение.

Так-то оно так. Но он-то ведь не какой-то там Сидор, Петр или Иван.

Нет, дело не в том, что он знаменитый драматург, имя которого известно и в стране, и за границей. Никаких особых заслуг, дающих ему право обращаться со своими болями и обидами напрямую к Сталину, у него нет. Но у него для такого прямого обращения к вождю есть другое, быть может, даже более весомое основание: *право личного знакомства.*

Не получив никакого ответа и на это свое письмо, спустя четыре года (4 февраля 1938) он вновь обращается к Сталину с письмом. На этот раз хлопоча не о себе, а о другом — о Николае Робертовиче Эрдмане.

Это выглядит, пожалуй, даже еще более странно.

Не имеющий никакого официального положения, затравленный автор запрещенных пьес выступает в роли покровителя — ну не покровителя, так ходатая — за другого униженного, запрещенного, только что отбывшего ссылку литератора. По какому праву?

А все по тому же: *по праву личного знакомства.*

Не исключено, что этим своим ходатайством за Николая Робертовича Михаил Афанасьевич хотел — в такой деликатной форме — напомнить “Хозяину” и о себе.

Но даже если это не так, обращаясь к Сталину, он, видимо, не сомневался, что каков бы ни был результат этого его ходатайства, оно, во всяком случае, *до Сталина дойдет.*

Вряд ли в это время он еще сохранял надежду на то, что Сталин когда-нибудь все-таки захочет с ним встретиться. Но в мыслях к самой идее такой встречи и даже продолжения “личного знакомства” с вождем возвращался постоянно. Правда, не всерьез, а, как говорится, “в тоне юмора”.

Михаил Афанасьевич любил забавлять домашних устными рассказами о своих близких отношениях с вождем. Рассказы эти сохранились в записях Е.С. Булгаковой и К.Г. Паустовского.

Миша останавливается у дверей, отвечает поклон.

СТАЛИН. Что такое? почему босой?

БУЛГАКОВ (*разводя грустно руками*). Да что уж... нет у меня сапог...

СТАЛИН. Что такое? Мой писатель без сапог? Что за безобразия! Ягода, снимай сапоги, дай ему!

Ягода снимает сапоги, с отвращением дает Мише. Миша пробует натянуть — неудобно!

БУЛГАКОВ. Не подходят они мне...

СТАЛИН. Что у тебя за ноги, Ягода, не понимаю! Ворошилов, снимай сапоги, может, твои подойдут.

Ворошилов снимает, но они велики Мише.

СТАЛИН. Видишь — велики ему! У тебя уж ножища! Интендантская!

Ворошилов падает в обморок.

СТАЛИН. Вот уж, и пошутить нельзя! Каганович, чего ты сидишь, не видишь, человек без сапог!

Каганович торопливо снимает сапоги, но они тоже не подходят.

— Ну, конечно, разве может русский человек!.. У-ух ты!..
Уходи с глаз моих!

Каганович падает в обморок.

— Ничего, ничего, встанет! Микоян! А впрочем, тебя и просить нечего, у тебя нога куриная.

Микоян шатается.

— Ты еще вздумай падать!! Молотов, снимай сапоги!!

Наконец, сапоги Молотова налезают на ноги Мише.

— Ну, вот так! Хорошо. Теперь скажи мне, что с тобой такое? Почему ты мне такое письмо написал?

БУЛГАКОВ. Да что уж!.. Пишу, пишу пьесы, а толку никакого!.. Вот сейчас, например, лежит в МХАТе пьеса, а они не ставят, денег не платят...

СТАЛИН. Вот как! Ну, подожди, сейчас! Подожди минутку.

Звонит по телефону.

— Художественный театр, да? Сталин говорит. Позовите мне Константина Сергеевича. *(Пауза.)* Что? Умер? Когда? Сейчас? *(Мише).* Понимаешь, умер, когда сказали ему.

Миша тяжело вздыхает.

— Ну, подожди, подожди, не вздыхай.

Звонит опять.

— Художественный театр, да? Сталин говорит. Позовите мне Немировича-Данченко. *(Пауза.)* Что? Умер?! Тоже умер? Когда?.. Понимаешь, тоже сейчас умер...”

(Е. Булгакова. Воспоминания)

Это — пародийное отражение реальных его контактов с вождем. (“Что с тобой такое? Почему ты мне такое письмо написал?” — “Да что уж!.. Пишу, пишу пьесы, а толку никакого!”)

В записи К.Г. Паустовского пародия как будто уже совсем оторвалась от реальности:

— Понимаешь, Миша, все кричат — гениальный, гениальный. А не с кем даже коньяку выпить!.. Садись, Миша. Чего ты грустный? В чем дело?

— Да вот пьесу написал.

— Так радоваться надо, когда целую пьесу написал. Зачем грустный?

— Театры не ставят, Иосиф Виссарионович.

— А где бы ты хотел поставить?

— Да конечно, в МХАТе, Иосиф Виссарионович.

— Театры допускают безобразие! Не волнуйся, Миша. Садись. — Сталин берет телефонную трубку.

— Барышня! А барышня! Дайте мне МХАТ! МХАТ мне дайте! Это кто? Директор? Слушайте, это Сталин говорит. Алло! Слушайте!

Сталин начинает сердиться и сильно дуть в трубку.

— Дураки там сидят в Наркомате связи. Всегда у них телефон барахлит. Барышня, дайте мне еще раз МХАТ. Еще раз, русским языком вам говорю! Это кто? МХАТ? Слушайте, только не бросайте трубку! Это Сталин говорит. Не бросайте! Где директор? Как? Умер? Только что? Скажи, пожалуйста, какой нервный народ пошел!

(К. Паустовский. Книга скитаний)

Это, пожалуй, уже даже не пародия, а гротеск. Но и за этим гротеском тоже — вполне реальная ситуация:

На спектакле “Горячее сердце” в правительственной комнате за ложей глава театра Немирович-Данченко и обходительный царедворец с изысканными манерами, актер Подгорный, еще недавно встречавший здесь великих князей, принимали теперь кремлевских гостей. В антрактах велись непринужденные разговоры. Сидя на диване перед круглым столиком с цветами, бутылками вина и вазами фруктов и поднося спичку к трубке, вождь обронил, будто невзначай: “А почему давно не идут “Дни Турбиных” драматурга Булгакова?”

Словно бы он не знал, точно не слышал того свиста и улюлюканья, под который еще недавно пьеса была снята из репертуара всех театров страны Главреперткомом. Будто не читал в газетах призыва через всю полосу — “Долой булгаковщину!”...

Подгорный поддержал игру: “В самом деле, давно эту пьесу не давали... Декорации, Иосиф Виссарионович, требуют подновления...”

Вождь сел в черную машину с провожатыми и уехал, а Немирович и Подгорный молча переглянулись. Ба! Вот так история! Как прикажете понимать? И на всякий случай порешили выждать.

Но долго ждать не пришлось. Не прошло и недели, как в театр позвонил Абель Енукидзе и сказал, что товарищ Сталин интересуется, когда он может посмотреть “Турбиных”?

Тут уже Владимир Иванович не поглаживал неторопливо свою красивую бороду. Тут забежали, засуетились, артисты стали вспоминать текст, назначили срочные репетиции, извлекли и подновили начавшие плесневеть и осыпаться в сарае декорации...

(В. Лакшин. Булгакиада. В кн.: В. Лакшин. Голоса и лица. М., 2004. С. 463–464)

В натуре от сталинского (енукидзевого) звонка никто не умер, даже в обморок не упал. Но суматоха была большая.

А пародийная реплика Сталина в этой гротескной булгаковской сцене: “Понимаешь, Миша, все кричат — гениальный, гениальный. А не с кем даже коньяку выпить!” — в сущности, представляет не что иное, как иронический перифраз той самой — реальной — реплики Сталина: “Нам бы нужно встретиться, поговорить...”

Не без некоторых к тому оснований можно даже сказать, что все эти устные рассказы Булгакова о его мифических отношениях со Сталиным являют собой не что иное, как *трансформацию той сталинской фразы в развернутый иронический сюжет*.

Казалось бы, из этого с несомненностью следует, что в искренность сталинского желания встретиться с ним и поговорить Булгаков давно уже не верил?

Пожалуй, что так. И все-таки — верил.

И не потому, что был так уж наивен, а потому, что для этой веры у него были — во всяком случае, *могли быть* — весьма серьезные основания.



Известно, что “Дни Турбиных” Сталин смотрел 15 раз. Эта цифра зафиксирована в театральных протоколах. Много писавший о Булгакове критик В. Лакшин, детство и юность которого протекали в непосредственной близости к МХАТу (родители его были артистами этого театра), считал, что цифра эта сильно занижена, поскольку вождь неоднократно приезжал на “Турбиных” в середине или к концу спектакля, и эти его посещения

театра официально не фиксировались. Но и официальная цифра впечатляет. Пятнадцать раз приезжать на один и тот же спектакль — это поразительно много. Сильно, видеть, этот спектакль чем-то его зацепил.

Чем же?

Художественные вкусы вождя особой тонкостью и глубиной восприятия, как мы знаем, не отличались. Многие его оценки (я имею в виду Сталинские премии, в присуждении которых его слово было, разумеется, решающим) были обусловлены соображениями скорее политическими, чем художественными. Но были у него и свои художественные пристрастия. Например, Ванда Василевская:

— Какое ваше мнение о Ванде Василевской как о писателе? — спросил Сталин в конце разговора. — В ваших внутрисписательских кругах? Как они относятся к ее последнему роману?

— Неважно, — ответил Фадеев.

— Почему? — спросил Сталин.

— Считают, что он неважно написан.

— А как вообще вы расцениваете в своих кругах ее как писателя?

— Как среднего писателя, — сказал Фадеев.

— Как среднего писателя? — переспросил Сталин.

— Да, как среднего писателя, — повторил Фадеев.

Сталин посмотрел на него, помолчал, и мне показалось, что эта оценка как-то его огорчила.

*(К. Симонов. Глазами человека моего поколения.
В кн.: Константин Симонов. Истории тяжелая вода.
М., 2005. С. 383)*

При всем при том, однако, нельзя исключать, что Бул-

гакова Сталин отметил и выделил именно как художника.

Е.С. Булгакова в своем дневнике вспоминает рассказ Александра Николаевича Тихонова:

Он раз поехал с Горьким (он при нем состоял) к Сталину хлопотать за эрдмановского “Самоубийцу”. Сталин сказал Горькому:

— Да что! Я ничего против не имею. Вот — Станиславский тут пишет, что пьеса нравится театру. Пожалуйста, пусть ставят, если хотят. Мне лично пьеса не нравится. Эрдман мелко берет, поверхностно берет. Вот Булгаков! Тот здорово берет! Против шерсти берет! (Он рукой показал — и интонационно.) Это мне нравится!

Тихонов мне это рассказывал в Ташкенте в 1942 году, и в Москве после эвакуации...

*(Дневник Елены Булгаковой.
М., 1990. С. 301)*

Нельзя тут сбрасывать со счета и магическую силу блистательного мхатовского спектакля, изумительную игру актеров, в частности — Николая Хмелева, игравшего Алексея Турбина.

И об этом тоже есть запись в дневнике Елены Сергеевны Булгаковой:

Вечером у нас Хмелев... Разговоры о пьесе... Рассказ Хмелева. Сталин раз сказал ему: хорошо играете Алексея. Мне даже снятся ваши черные усики (турбинские). Забыть не могу!

*(Воспоминания о Михаиле Булгакове.
М., 2006. С. 272)*

Еще одним и, может быть, самым впечатляющим свидетельством того мощного воздействия, какое оказала на Сталина пьеса Булгакова “Дни Турбиных”, может служить такое наблюдение (лучше сказать — догадка):

В недавние годы смотрел я во МХАТе посредственную постановку нынешних “Турбиных”. И вдруг вздрогнул: на лестнице в гимназии Алексей Турбин, обращаясь к юнкерам, сказал слова, напомнившие чью-то другую, известную-известную, знакомую с дней войны интонацию: “Слушайте меня, друзья мои...”.

Господи, да как же я сразу не узнал? Это же знаменитое сталинское: “К вам обращаюсь я, друзья мои!” Кто из современников минувшей войны, начиная от тогдашних школьников, не помнит этой речи 3 июля 1941 года, когда, собравшись, наконец, с силами после острого приступа малодушия и растерянности, яростной обиды на судьбу и обманувшего его Гитлера, Сталин приехал из своего загородного убежища, чтобы произнести эти слова, воззвать к стране, заметная часть территории которой уже была захвачена врагом...

Помню, как слушали мы, дети сорок первого года, под черной бумажной тарелкой репродуктора это, непохожее на торжественные сталинские доклады и недавние речи о бандах троцкистско-зиновьевских двурушников, выступление... Помню тягостные паузы в репродукторе и как что-то звякало, то ли зубы о стакан, когда он отпивал воду, то ли чайная ложка. Оратор волновался перед микрофоном, как, может быть, ни разу в жизни, и оттого говорил с еще более сильным акцентом... Текст речи, который он привез с собой теперь в Кремль, он обдумал за последние бессонные ночи на даче в Волынском. Он знал, что говорить надо коротко, а начать

как-то особенно, необычно, сразу завоевав все души, и он сказал: “Товарищи! Граждане!.. Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои!”

“Братья и сестры” возникло в его сознании, потрясенном несчастьями последних дней, невольно, как отдаленное воспоминание детства и юности. Это были те трогательные равенством и умиротворением слова священника, его обращение к братьям и сестрам во Христе, которые он привык слышать в семинарской церкви в Тифлисе.

А следом невольно подвернулись под язык знакомые интонации булгаковской пьесы: “К вам обращаюсь я, друзья мои...”

(В. Лакшин. Булгакиада. В кн.: В. Лакшин. Голоса и лица. М., 2004. С. 268–269)

Это уже, так сказать, на уровне подсознания. Но и вполне сознательные высказывания Сталина на эту тему не скрывают острой его заинтересованности и пьесой, и спектаклем.

Но это всё — в частных разговорах. Что же касается официальных, публичных высказываний Сталина об этой — так сильно впечатлившей его — булгаковской пьесе, то в них он был весьма сдержан. Можно даже сказать, суров:

Почему так часто ставят на сцене пьесы Булгакова? Потому, должно быть, что своих пьес, годных для постановки, не хватает. На безрыбье даже “Дни Турбиных” — рыба...

Что касается собственно пьесы “Дни Турбиных”, то она не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остаю-

щееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: “Если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, — значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь”. “Дни Турбиных” есть демонстрация всепокрушающей силы большевизма.

(Из письма Билль-Белоцерковскому)

...Взять, например, этого самого всем известного Булгакова. Если взять его “Дни Турбиных”, чужой он человек, безусловно. Едва ли он советского образа мысли. Однако... я с точки зрения зрителя сужу. Возьмите “Дни Турбиных”, — общий осадок впечатления у зрителя остается какой? Несмотря на отрицательные стороны, — в чем они состоят, тоже скажу, — общий осадок впечатления остается такой, когда зритель уходит из театра, — это впечатление несокрушимой силы большевиков. Даже такие люди крепкие, стойкие, по-своему честные в кавычках, как Турбин и его окружающие, даже такие люди, безукоризненные по-своему и честные по-своему в кавычках, должны были признать в конце концов, что ничего с этими большевиками не поделаешь.

(Из выступления на встрече с украинскими литераторами)

Каждого, кто читал пьесу Булгакова “Дни Турбиных”, утверждение Сталина, что пьеса эта есть “демонстрация всепокрушающей силы большевизма” и главное впечатление, с каким посмотревший ее зритель уйдет из театра, это “впечатление несокрушимой силы большевиков”, не может не изумить.

Ничего похожего в этой булгаковской пьесе нету и в помине.

Лариосик поворачивает штепсель, и елка вспыхивает электрическими лампочками. Входят Шервинский, Студзинский и Елена.

СТУДЗИНСКИЙ. Очень красиво! И как стало сразу уютно!

МЫШЛАВСКИЙ. Ларионова работа. Bravo, bravo! Нука, Ларион, сыграй нам марш.

Лариосик выбегает и начинает на рояле бравурный марш. Николка выходит, ложится на диван.

Ну вот, все в полном порядке... Ларион, довольно... Поздравляю тебя, Лена ясная, раз и навсегда. Забудь обо всем, и вообще — ваше здоровье. (*Пьет.*)

Николка трогает струны гитары.

ЛАРИОСИК. Огни... огни...

НИКОЛКА (*напевает тихо*). Скажи мне, кудесник, любилец богов...

МЫШЛАВСКИЙ. Ларион. Скажи нам речь. Ты мастер.

ЛАРИОСИК. Я, господа, право, не умею. И, кроме того, я очень застенчив.

МЫШЛАВСКИЙ. Ларион говорит речь.

ЛАРИОСИК. Что ж, если обществу угодно,— я скажу.

Только прошу извинить: ведь я не готовился. Мы встретились в самое трудное и страшное время, и все мы пережили очень, очень много, и я в том числе. Я ведь тоже перенес жизненную драму. Впрочем, я не то... И мой утлый корабль долго трепало по волнам гражданской войны...

МЫШЛАВСКИЙ. Очень хорошо про корабль, очень.

ЛАРИОСИК. Да, корабль. Пока его не прибило в эту гавань с кремовыми шторами, к людям, которые мне так понравились... Впрочем, и у них я застал драму... Но не будем вспоминать о печалях... Время повернулось, сгинул Петлюра. Мы живы... да... все снова вместе... Елена Васильевна, она тоже много перенесла и заслуживает счастья, потому что она замечательная женщина. И мне хочется сказать ей словами писателя: “Мы отдохнем, мы отдохнем...”

Далекие пушечные удары.

МЫШЛАЕВСКИЙ. Так! Отдохнули!.. Пять... шесть... девять...

ЕЛЕНА. Неужто бой опять?

ШЕРВИНСКИЙ. Нет. Знаете что: это салют.

МЫШЛАЕВСКИЙ. Совершенно верно: шестидюймовая батарея салютует.

Далекая глухая музыка.

...Большевики идут!

Все идут к окну.

НИКОЛКА. Господа, знаете, сегодняшней вечер — великий пролог к новой исторической пьесе.

СТУДЗИНСКИЙ. Для кого — пролог, а для меня — эпилог.

Занавес.

Так кончалась у Булгакова последняя — та, что была поставлена МХАТом, — редакция этой его пьесы.

В предыдущей ее редакции финал был немного иным. Герои пьесы садились за ломберный столик, начинали тасовать карты. Звучали реплики:

— У меня пиковая девятка...

— У меня, конечно, тоже пики...

Оркестровая музыка за сценой сливалась с Николкиной гитарой. А Николка под гитару пел свою любимую юнкерскую:

Уходят и поют
 Юнкера гвардейской школы,
 Их трубы и литавры,
 Тарелки звенят.
 Граждане и гражданки
 Взором отчаянным
 Вслед юнкерам
 Уходящим глядят...

Бескозырки тонные,
 Сапоги фасонные...

Но реплика о том, что сегодняшний вечер — пролог к новой исторической пьесе, там тоже была. Только там ее произносил не Николка, а Лариосик. А последнюю реплику — “Кому пролог, а кому эпилог” — не Студзинский, а Мышлаевский.

В спектакле, как он мне запомнился (до войны, подростком, мне посчастливилось его увидеть), в этой финальной сцене вместо Николкиной юнкерской звучала другая песня.

В пьесе ее поют во второй картине первого акта:

МЫШЛАЕВСКИЙ. Давай сюда гитару, Николка, давай!
 НИКОЛКА *(с гитарой, поет)*.

Скажи мне, кудесник, любимец богов,
 Что сбудется в жизни со мною?

И скоро ль, на радость соседей-врагов,
Могильной засыплюсь землю?

ЛАРИОСИК *(поет)*.

Так громче, музыка, играй победу.

ВСЕ *(поют)*.

Мы победили, и враг бежит.

Так за...

ЛАРИОСИК. Царя...

АЛЕКСЕЙ. Что вы, что вы!

ВСЕ *(поют фразу без слов)*.

.....
Мы грянем дружное ура! Ура! Ура!

В тексте пьесы эта песня больше не возникает. Только в финальной сцене — намек на нее:

НИКОЛКА *(напевает тихо)*. Скажи мне, кудесник, любимец богов...

А в спектакле она возникала не раз — как некий постоянный лейтмотив, звучащий то грустно, то весело:

Так громче, музыка, играй победу.

Мы победили — и враг бежит, бежит, бежит...

Так за царя, за Русь, за нашу веру

Мы грянем громкое ура, ура, ура!

В финальной же сцене — после реплики: “Большевики идут!” Мышлаевский, ерничая, запевал:

Так за Совет Народных Комиссаров

Мы грянем громкое ура! Ура! Ура!

На “демонстрацию всесокрушающей силы большевизма” эта глумливая запевка Мышлаевского была похожа еще меньше, чем Николкина юнкерская из раннего булгаковского варианта.

Да и сам Сталин, надо полагать, пятнадцать раз ходил на этот спектакль не для того, чтобы вынести из него “впечатление несокрушимой силы большевиков”. И Хмелев с его черными турбинскими усиками наверняка снился ему по ночам совсем не потому, что эти усики утверждали его в мысли, что “даже такие люди... вынуждены были склониться перед всесокрушающей силой большевизма”.

Не отрицая силы художественного воздействия волшебного мхатовского спектакля на чуткую к искусству душу вождя, рискну предположить, что для такого необычайного сталинского интереса к нему была еще и другая, быть может, главная причина.

Эстетическим идеалом Сталина был фасад Российской империи: старая русская военная форма с погонами, “царский” портрет генералиссимуса на здании Моссовета (левая нога на полшага впереди правой, в левой руке перчатки)...

Неограниченный властелин полумира, создатель государственной машины, с которой не могла сравниться ни одна империя прошлого, земной бог, официальный титул которого (величайший гений всех времен и народов, корифей науки, гениальный полководец, основоположник, создатель, зачинатель, лучший друг физкультурников, и прочая, и прочая, и прочая) далеко превосходил количеством и пышностью определений полный титул российских самодержцев, он до конца своих дней не мог отделаться от комплекса неполноценности, от завистливого равнения на последнего отпрыска рухнувшей монархии. Я уверен, что лучшим комплиментом для Сталина, высшей оценкой созданной им империи были бы принятые всерьез полунасмешливые строки поэта: “Амуниция в порядке, как при Николае”.

В последние годы сталинского правления этот его эстетический идеал выразился уже с полной очевидностью — вплоть до мелочей: отдельное обучение школьников, школьная форма, раболопно скопированная с формы учащихся старых русских гимназий, деньги — зеленые трешки, синие пятерки, красные десятки: точь-в-точь как царские. (При царе они в народе так и назывались: “зелененькая”, “синенькая”, “красненькая”.)

Так и не отважившийся (в отличие от Наполеона) объявить себя императором, в конце жизни Сталин этих своих политических и эстетических идеалов уже не стеснялся. Но в 20-е и 30-е годы он еще должен был их скрывать.

То, что политическим его идеалом издавна была не мировая революция, не всемирное интернациональное братство пролетариев всех стран, а унитарное, самодержавное государство, проявилось очень рано: в его споре с Лениным о праве советских республик на самоопределение, вплоть до выхода их из состава Союза. Но от этого было все-таки еще бесконечно далеко до обнажения его потаенной мечты о реставрации Российской империи со всеми атрибутами ее былого величия. До поры это оставалось его *тайной любовью*.

Вот почему ему снился по ночам Николай Хмелев в роли полковника царской армии Алексея Турбина с его черными усиками.

Но при этом он не мог не считаться с тем, что у тех, кто шел за ним и на кого он до поры вынужден был опираться, к полковнику Турбину было совсем другое отношение.



1 августа 1929 года в “Правде” был напечатан отрывок из стихотворной пьесы Александра Безыменского “Выстрел”.
Одной из ключевых в этом отрывке была такая сцена:

ДЕМИДОВ:

И еще я помню брата.
Черноусый офицер
Горло рвал ему, ребята,
И его глаза запрятал
В длинноствольный револьвер.
Братья! Будьте с ним знакомы,
Истяжал он денщиков,
Бил рабочих в спину ломом
И устраивал погромы,
Воплощая мир врагов.
Забывать его не смейте!
В поле,
В доме,
Иль в бою,
Если встретите — убейте!
И по полю прах развейте,
Правду вырвавши свою...

СОРОКИН:

Руками задушу своими!
Скажи:
Кто был тот сукин сын?

ВСЕ:

Скажи нам имя!
Имя!
И-м-я!

ДЕМИДОВ:

Полковник...

Алексей...

Турбин.

О художественных качествах этого текста говорить не стоит — они за пределами литературной критики. Да и не для того автор этой стихотворной белиберды обратился к Сталину, чтобы тот дал ей эстетическую оценку. Он хотел получить от него подтверждение, что в этом его произведении нет ничего *мелкобуржуазного* или, не дай Бог, *антипартийного*. И был при этом, судя по всему, весьма настойчив.

Настойчивость его увенчалась успехом. Требуемую индульгенцию он от вождя получил:

Тов. Безыменский!

Пишу с опозданием.

Я не знаток литературы и, конечно, не критик. Тем не менее ввиду Ваших настояний могу сообщить Вам свое личное мнение.

Читал и “Выстрел” и “День нашей жизни”. Ничего ни “мелкобуржуазного”, ни “антипартийного” в этих произведениях нет. И то, и другое, особенно “Выстрел”, можно считать образцами революционного пролетарского искусства для настоящего времени...

С комм. приветом

И. Сталин

19 марта 1930 г.

*(И. Сталин. Сочинения. Том 12.
М., 1949. С. 200–201)*

Сталин, конечно, прекрасно понимал, что снившийся ему по ночам полковник Алексей Турбин — такой, ка-

ким его написал Булгаков и каким его играл Хмелев, — денщиков не истязал, рабочих “в спину ломом” не бил и никаких погромов, “воплощая мир врагов”, не устраивал. Понимал, что все это — несусветная чушь. Но защищать полковника Турбина от яростной классовой ненависти комсомольского поэта не стал. Да, видимо, и не мог.

Чтобы у советского (не отщепенца вроде Булгакова, а в полном смысле этого слова советского) писателя хватило духу внятно сказать, что с образом бывшего царского офицера вовсе не обязательно связывать представление об изувере, истязавшем денщиков, избивавшем рабочих и устраивавшем погромы, должно было пройти лет двенадцать. И каких лет! Целая эпоха!

Вот в пьесе Константина Симонов “Русские люди” командир Красной армии Сафонов беседует с бывшим царским офицером Васиным. Дело происходит осенью 1941 года, автобат, которым командует Сафонов, несет большие потери, людей не хватает, и комбат хочет назначить Васина своим начальником штаба:

САФОНОВ. Вы, я слышал, в русско-японской участвовали?

ВАСИН. Так точно.

САФОНОВ. И в германской?

ВАСИН. Так точно...

САФОНОВ. А в германскую войну, я слышал, вы награды имели?

ВАСИН. Так точно. Георгия и Владимира с мечами и бантом.

САФОНОВ. А чем доказать можете?

ВАСИН. В данное время не могу, так как с собой не ношу, а доказать могу тем, что храню.

САФОНОВ. Храните?

ВАСИН. Так точно, храню.

Не знаю, как сейчас, но в 42-м году, когда была написана эта симоновская пьеса, подтекст этих двух последних реплик был предельно внятен. Все знали, что хранить все эти годы царские ордена было небезопасно. И вот — всё переменялось: то, что еще вчера было криминалом, сейчас стало знаком мужества, верности, офицерской доблести и чести.

А в 20-е и 30-е годы сам Сталин вынужден был таить от своих “неистовых ревнителей” возникшую у него симпатию (может быть, даже больше, чем симпатию) к царскому артиллерийскому полковнику Алексею Турбину. И защищать от этих верных своих псов полюбившуюся ему пьесу Булгакова он тогда мог только вот такими невнятными оправданиями: на безрыбье, мол, и рак рыба... Пьеса, конечно, антисоветская, но все-таки пользы от нее больше, чем вреда... Он даже и “Бег” разрешил бы поставить, если бы автор согласился добавить к своим восьми “Снам” еще два...

Но он ведь в это время уже прочел обращенное к нему откровенное письмо Булгакова. И прекрасно понял, что за человек этот Булгаков. Во всяком случае, понимал, что никаких новых “Снов” к своим написанным восьми этот строптивец добавлять не станет.

Поэтому и не захотел с ним встречаться.

Булгаков до последнего дня своей недолгой жизни терзался этим проклятым вопросом: почему Сталин передумал, отказался от своего намерения встретиться с ним и поговорить по душам.

Всю жизнь М.А. задавал мне один и тот же вопрос: почему Сталин раздумал? И всегда я отвечала одно и то

же. А о чем он мог бы с тобой говорить? Ведь он прекрасно понимал, после того твоего письма, что разговор будет не о квартире, не о деньгах, — разговор пойдет о свободе слова, о цензуре, о возможности художнику писать о том, что его интересует. А что он будет отвечать на это?

(Дневник Елены Булгаковой.
М., 1990. С. 300)

Умница Елена Сергеевна объяснила все правильно. Попала, можно сказать, в самую точку.

Я бы только к этому ее объяснению добавил одну самую малую малость.

Сталин вовсе не “раздумал” встречаться с Булгаковым. На самом деле он вовсе и не думал с ним встречаться. У него и в мыслях этого не было.

Перечитаем внимательно последние реплики того телефонного разговора. Вслушаемся в интонацию последних реплик вождя.

Изящно пошутив: “А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся”, он тут же сообразил, что решив вопрос о “трудоустройстве” драматурга помощником режиссера во МХАТе, он оставил нерешенными все другие — главные — вопросы, поставленные перед ним Булгаковым в его письме. И дал понять ему, что *это не телефонный разговор*: “Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами”.

Но Булгаков принимает это за чистую монету: “Да, да, Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить”. Он верит, что это только *начало* их объяснения, что главное — впереди, в этой обещанной ему личной встрече.

Сталин это вроде как подтверждает: “Да, нужно найти время и встретиться...” Но имеющий уши да слышит. Ведь времени для этой встречи у него может и не найтись: мало у него разве других забот... “А теперь желаю вам всего хорошего”.

Многие из тех, кому случалось встречаться и разговаривать со Сталиным, уверяли, что если ему это было нужно, он всегда умел очаровать собеседника. Может быть, не все поддавались этому его очарованию, но Булгакова он очаровал. “Он вел разговор сильно, ясно, государственно и элегантно”, — год спустя вспоминал Михаил Афанасьевич.

Истинный смысл этой сталинской элегантности открылся ему не сразу.

“И вот, всё-таки раздавил...”

Эту реплику в пьесе Булгакова “Кабала святош” произносит Мольер. “Все-таки раздавил” его — король, Людовик Четырнадцатый, “Король-Солнце”. Сталина придворные поэты (особенно восточные — Сулейман Стальский, Джамбул) тоже имели обыкновение уподоблять Солнцу. Немудрено, что бдительные сталинские цензоры углядели тут прямой намек:

Мольер произносит такие реплики: “Всю жизнь я ему (королю) лизал шпоры и думал только одно: не раздави... И вот все-таки раздавил!”... Эта сцена завершается возгласом: “Ненавижу бессудную тиранию!” (Репертком исправил: “королевскую”.)

Несмотря на всю затушеванность намеков, политиче-

ский смысл, который Булгаков вкладывает в свое произведение, достаточно ясен.

(Из докладной записки председателя Комитета по делам искусств при СНК СССР П.М. Керженцева И.В. Сталину и В.М. Молотову о пьесе М.А. Булгакова “Кабала святош” (Мольер)

Я привел тут это суждение П.М. Керженцева не для того, чтобы согласиться с ним или его опровергнуть, — по этому поводу, наверно, могут быть разные мнения. Но одно несомненно: сюжет этой булгаковской пьесы был безусловно автобиографичен.

Я имею в виду, разумеется, не личную, интимную, внутрисемейную, а социальную драму, лежащую в основе булгаковского “Мольера”. То есть — отношения, которые сложились у героя его пьесы с королем. А отношения эти были такие же, как у него самого со Сталиным.

С особой, обнаженной наглядностью выразилась эта параллель в одном из ранних вариантов пьесы — в сцене аудиенции, которую король дает Мольеру. Впервые на это обратила внимание М.О. Чудакова, разобравшая архив М.А. Булгакова и опубликовавшая эти его черновые наброски:

Вся сцена, — заметила она по этому поводу, — проникнута приподнятым ожиданием возможной встречи с правителем, надеждой на многообещающее снискание его симпатий и интереса к творчеству художника. Камердинер торжественно объявляет: “Жан-Батист, всадник де Мольер просит разрешения! Людовик (очень оживленно). Просите, я рад!”... В одной подчеркнутой

нами ремарке, в том, как дальше угадывал король невысказанное желание Мольера (“Я понял — писатели любят говорить о своих произведениях наедине”...) и отправлял из комнаты придворных, сквозило авторское предожидание подобной аудиенции и доверительного разговора.

(М.О. Чудакова. *Архив М.А. Булгакова. В кн.: Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина. Записки отдела рукописей. Выпуск 37. М., 1976. С. 90*)

Замечание меткое. Но суть дела этим не исчерпывается. При внимательном чтении в самой этой сцене обнаруживаются и более прямые совпадения.

ЛЮДОВИК. Вас преследуют?

МОЛЬЕР (*молчит*).

ЛЮДОВИК (*громко*). Если вам будет что-нибудь угрожать, сообщите мне. Господа! Нет ли среди вас поклонников писателя де Мольера? (*Движение.*) Я лично в их числе... (*Гул.*) Так вот: писатель мой угнетен. Боится... И я буду благодарен тому, кто даст мне знать об угрожающей ему опасности. (*Мольеру.*) Как-нибудь своими слабыми силами отобьемся. (*Громко.*) Отменяю запрещение: с завтрашнего дня можете играть Тартюфа и Дон Жуана. (*Гул.*)

Тут просматриваются прямые параллели. Сталин тоже отменил запрет на пьесу Булгакова “Дни Турбиных” и разрешил — даже приказал — возобновить ее постановку на сцене МХАТа. Причем параллели не только сюжетные, но и чисто словесные.

Людовик говорит: “Писатель мой угнетен...”

И Сталин (в булгаковских устных рассказах) говорит: “Мой писатель без сапог...”

Людовик говорит Мольеру: “Как-нибудь своими слабыми силами отобьемся”.

Совершенно в том же духе пошутил и Сталин в ответ на реплику Булгакова, что во МХАТе никак не откликнулись на высказанное им желание работать помощником режиссера: “А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся”.

Но дело даже не в этих частностях и деталях. Конечно, они тоже важны, но главное все-таки — это совпадение главной интриги булгаковского “Мольера” с творческой и жизненной драмой самого Булгакова.

Мольера в пьесе Булгакова травят, против него интригуют, его хотят погубить “неистовые ревнители” божественной королевской власти, большие роялисты, чем сам король. Король же до поры защищает его от них, не дает его им в обиду.

Именно так (во всяком случае, так это ему представлялось) обстояло дело и во взаимоотношениях самого Булгакова с властью. В его жизни роль яростных приверженцев “кабалы святош” играли оголтелые рапповцы и “комсомольцы”. А роль короля взял на себя Сталин.

В какой-то мере это представление Булгакова соответствовало действительности. В иных случаях Сталин действительно вступался за него. А в иных, даже если и хотел, не мог его защитить:

П. Марков в свое время передавал гулявшую по Москве фразу Сталина в связи с запретом “Бега”:

— В “Беге” я должен был сделать уступку комсомолу.

*(М.А. Булгаков. Собрание сочинений в пяти томах.
Том 3. М., 1990. С. 595)*

Как бы то ни было, Булгаков жадно ловил любой слух, говорящий о намерении Сталина защитить его, оградить от своры “неистовых ревнителей”. И охотно готов был поверить каждому такому слуху.

Об этом ясно свидетельствуют многочисленные — постоянным лейтмотивом проходящие — записи в дневнике Елены Сергеевны:

27 марта 1934 г.

Сегодня днем заходила в МХАТ за М.А. Пока ждала его в конторе у Феди, подошел Ник. Вас. Егоров. Сказал, что несколько дней назад в Театре был Сталин, спрашивал, между прочим, о Булгакове, работает ли в Театре?

*(Дневник Е.С. Булгаковой. В кн.:
Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 2006. С. 40)*

8 сентября

По дороге в Театр встреча с Судаковым.
— Вы знаете, М.А., положение с “Бегом” очень неплохое. Говорят — ставьте. Очень одобряет и Иосиф Виссарионович и Авель Сафронович. Вот только бы Бубнов не стал мешать.

(Там же. С. 56)

11 февраля 1936 г.

Сегодня смотрел “Мольера” секретарь Сталина Поскребышев. Оля, со слов директора, сказала, что ему очень понравился спектакль и что он говорил: “Надо непременно, чтобы И.В. посмотрел”.

(Там же. С. 105)

22 апреля 1937 г.

Марков рассказывал, что в ложе (по-видимому, на “Анне Карениной”) был разговор о поездке в Париж, что,

будто бы, Сталин был за то, чтобы везти “Турбиных” в Париж, а Молотов возражал.

(Там же. С. 138)

10 мая

Федя... подтвердил то, что сказал Марков. Сталин горячо говорил в пользу того, что “Турбиных” надо везти в Париж, а Молотов возражал. И, — прибавил Федя еще, — что против “Турбиных” Немирович. Он хочет везти только свои постановки и поэтому настаивает на “Врагах” вместо “Турбиных”...

(Там же. С. 143)

24 ноября

Позвонил Яков Л. и сообщил, что на “Поднятой целине” был Генеральный секретарь и, разговаривая с Керженцевым о репертуаре Большого, сказал:

— А вот же Булгаков написал “Минина и Пожарского”...

(Там же. С. 175)

Даже по нескольким этим коротким записям видно, что надежда на интерес к нему Сталина, на благосклонность Сталина была той последней соломинкой, за которую хватался Булгаков, тонущий в море ненависти и непрекращающейся травли. Только он один не позволяет всем этим ненавистникам окончательно раздавить его. И вот — “все-таки раздавил”. Точь-в-точь, как Людовик Мольера.

Тут, правда, надо сказать, что раздавил Сталин Булгакова позже. То есть, сочиняя своего “Мольера”, Булгаков не мог знать, что и трагический финал этого его сюжета тоже окажется автобиографическим. Выходит, эту трагическую развязку собственной судьбы он *сам себе напроорочил*.

И еще одно, казалось бы, вопиющее несоответствие. В финале пьесы булгаковский Мольер восклицает:

“За что?.. Ваше величество, извольте объяснить... Извольте... я, может быть, вам мало льстил? Я, быть может, мало ползал?.. Ваше величество, где же вы найдете такого другого блюдолиза, как Мольер?.. Что еще я должен сделать, чтобы доказать, что я червь?..”

Здесь-то, казалось бы, уж совсем нет ничего автобиографического. Разве он, Булгаков, льстил Сталину? Ползал перед ним?

В 1930-м, когда он сочинял своего “Мольера”, ему не в чем было себя упрекнуть. Но в 1939-м, когда Сталин *раздавил* его, запретив к постановке его пьесу “Батум”, у него были все основания терзать себя, задаваясь этим проклятым мольеровским вопросом: “За что?!.. Что еще я должен был сделать, чтобы доказать?!..”



Стоит ли доказывать, что пьесу о Сталине Булгаков замыслил и стал писать отнюдь не по зову сердца? Что главную роль тут играли соображения сугубо практического свойства?

В этом не сомневались и даже этим его попрекали и запретившие пьесу:

... Наверху посмотрели на представление этой пьесы Булгаковым, как на желание перебросить мост и наладить отношение к себе.

*(Дневник Е.С. Булгаковой. 17 августа 1939 г.
В кн.: Воспоминания о Михаиле Булгакове.
М., 2006. С. 281)*

Этим обвинением Елена Сергеевна была оскорблена до глубины души:

Это такое же бездоказательное обвинение, как бездоказательно оправдание. Как можно доказать, что никакого моста М.А. не думал перебрасывать, а просто хотел, как драматург, написать пьесу — интересную для него по материалу с героем, — и чтобы пьеса эта не лежала в письменном столе, а шла на сцене?!

(Там же. С. 281–282)

Елена Сергеевна тут была совершенно права. В самом деле, как можно это доказать?

Тем не менее Михаил Афанасьевич, как видно, тоже уязвленный этим подозрением, такие доказательства пытался найти и, как будто, даже собирался их представить:

...Виленкин после звонка пришел. Миша говорил с ним, что у него есть точные документы, что задумал он эту пьесу в начале 1936 года, когда вот-вот должны были появиться на сцене и “Мольер”, и “Пушкин”, и “Иван Васильевич”.

(Там же. С. 283)

М.А., видимо, хотел этим сказать, что в 1936-м, когда оставалась надежда, что и “Мольер”, и “Пушкин”, и “Иван Васильевич” будут ставиться, он еще не был “человеком, припертым к стене”, стало быть, пьесу о Сталине задумал не под давлением обстоятельств. Но ведь и в 36-м его обстоятельства были таковы, что решение написать пьесу о Сталине вполне могло показаться ему единственным выходом из тупика, в котором он оказался.

Виталий Яковлевич Виленкин, которого в этой своей дневниковой записи упоминает Елена Сергеевна, в то время (в 1939 году) был во МХАТе заведующим литературной частью. Он горячее, чем кто другой из ближайшего булгаковского окружения, ухватился за этот булгаковский замысел. Пылко уговаривал Михаила Афанасьевича отбросить прочь все колебания и как можно скорее взяться за работу.

А колебания у М.А. были:

Когда в первый раз мы заговорили с ним о теме пьесы, он ответил:

— Нет, это рискованно для меня. Это плохо кончится.

*(В. Виленкин. Воспоминания с комментариями.
М., 1982. С. 396)*

Заметьте: не “боюсь, что не получится.” Или “получится слабая, бледная, неинтересная пьеса”, а — “рискованно”, “плохо кончится”. Колебания, стало быть, были не творческие, а бытовые.

Этой булгаковской проговоркой Виленкин невольно подтверждает, что, задумывая пьесу о Сталине, Булгаков более всего был озабочен тем, как осуществление этого замысла отразится на его положении опального драматурга. Изменит ли оно это его положение к лучшему, или, не дай Бог, сделает совсем отчаянным.

Однако сам автор “Воспоминаний с комментариями” такое предположение решительно отвергает:

Почему Булгаков решил написать пьесу на эту тему? По этому поводу существует уже довольно прочно сложившаяся легенда: “сломался”, изменил себе под давлением обстоятельств, был вынужден писать не о том,

о чем хотел, с единственной целью — чтобы его начали наконец печатать и ставить на сцене его пьесы. Независимо от того, кто эту легенду пустил в ход или хотя бы принимает ее в качестве домысла, я свидетельствую, что ничего подобного у Булгакова и в мыслях не было. Мое право на свидетельство — в том, что работа над этой пьесой в 1939 году протекала на моих глазах и что Михаил Афанасьевич говорил со мной о ней с полной откровенностью.

(Там же. С. 396–397)

Сделав столь решительное и даже категорическое заявление, автор этого свидетельства далее слегка сбавляет тон. Он признается:

Прямого разговора о том, что побуждает его писать пьесу о молодом Сталине, у нас с ним не было ни разу. Могу поделиться только тем, как я воспринимал это тогда и продолжаю воспринимать теперь. Его увлекал образ молодого революционера, прирожденного вожака, героя (это *ego* слово) в реальной обстановке начала революционного движения и большевистского подполья в Закавказье. В этом он видел благодарный материал для интересной и значительной пьесы.

(Там же. С. 397)

В сущности, Виталий Яковлевич повторяет тут — слово в слово — то, что написала в своем дневнике Елена Сергеевна, говоря, что М.А. “просто хотел, как драматург, написать пьесу — интересную для него по материалу с героем”. Но она при этом честно добавляет: “... и чтобы пьеса эта не лежала в письменном столе, а шла на сцене”.

Практические соображения, стало быть, тут тоже играли роль. И немалую.

Но кто бы осмелился попрекнуть загнанного в угол драматурга тем, что он хотел видеть свою пьесу поставленной? И даже тем, что хотел таким способом изменить свое положение отщепенца?

Елена Сергеевна в своем дневнике даже и не думает скрывать, что с реализацией этого своего замысла Михаил Афанасьевич связывал и вполне земные планы:

Разговор Миши с Дмитриевым о МХАТе, о пьесе для него. Миша сказал — “капельдинером в Большом буду, на улице с дощечкой буду стоять, а пьесу в МХАТ не дам, пока они не привезут мне ключ от квартиры.

*(Дневник Е.С. Булгаковой. 7 марта 1939 г.
В кн.: Воспоминания о Михаиле Булгакове.
М., 2006. С. 244)*

... Знаменитый разговор о Мишином положении и о пьесе о Сталине. Театр, ясно, встревожен этим вопросом и жадно заинтересован пьесой о Сталине, которую Миша уже набрасывает... Виленкин сказал, что Калишьян говорит, что М.А. совершенно прав, требуя условий для работы, и говорит, что примет меры к тому, чтобы наше жилье можно было обменять на другое; настойчиво предлагают писать договор. Миша рассказал и частично прочитал написанные картины. Никогда не забуду, как Виленкин, закоченев, слушал...

(Там же. С. 263–264)

К двум часам пошли в МХАТ.

В кабинете Калишьяна — он, Виленкин, М.А. и я. Накрыт чай, черешня.

Сначала разговор о квартире. Речь Калишьяна сводилась к тому, что он очень рад, что М.А. согласился опять работать для МХАТа, но, конечно, эта работа должна протекать в совершенно других условиях, условиях исключительного благоприятствования, что Театр не окажет никакой услуги, заменив нашу квартиру другой, что он слышал и понял, что теперешняя квартира не дает возможности работать М.А. и так далее. Потом сказал, что постарается к ноябрю-декабрю устроить квартиру и по возможности четыре комнаты.

Потом Миша сказал: а теперь о пьесе. И начал рассказывать. Говорил он хорошо, увлекательно...

Оба — и Калишьян и Виленкин — по окончании рассказа, говорили, что очень большая вещь получится, обсуждали главную роль — что это действительно герой пьесы, роль настоящая, а не то что в других, — ругали мимоходом современную драматургию — вообще, по-моему, были очень захвачены. Калишьян спрашивал Мишу, какого актера он видит для Сталина...

(Там же. С. 266)

Дело, конечно, было не в квартире. Во всяком случае, не только в квартире.

Когда разразилась катастрофа, Булгаков получил заверения, что, несмотря ни на что, Театр все свои обязательства безусловно выполнит.

Вчера в третьем часу дня — Сахновский и Виленкин. Речь Сахновского сводилась к тому, в первой своей части, что М.А. должен знать, что Театр ни в коем случае не меняет своего отношения к М.А., ни своего мнения

о пьесе, что Театр выполнит все свои обещания, то есть о квартире, и выплатит все по договору.

(Дневник Е.С. Булгаковой. 17 марта 1939 г.
В кн.: Воспоминания о Михаиле Булгакове.
М., 2006. С. 281)

Но Булгаков был совершенно убит, и эти посулы, даже если бы они и были выполнены, не могли не то что ослабить, но даже смягчить боль от полученного им удара.

Рушилась последняя надежда на изменение его положения отщепенца, изгоя. А ведь расчет был именно на это. Ведь если бы его “Батум” имел официальный успех, наверняка были бы амнистированы — даже реабилитированы — все его запрещенные пьесы. И “Зойкина квартира”, и “Мольер”, и “Иван Васильевич”, и “Пушкин”...

В слово “расчет” я не вкладываю никакого осуждающего смысла. Речь не о том, что, решив написать, а потом и написав пьесу о Сталине, Булгаков “сломался”, “изменил себе под давлением обстоятельств”, как говорит об этом, с негодованием опровергая все эти обвинения, В.Я. Виленкин. Речь лишь о том, что в принятии им этого решения немалую, а может быть, даже и главную роль играли соображения, скажем так: *не только творческие*.

Сочинить пьесу на тему, лежащую несколько в стороне и даже довольно далеко от его главных и задушевных творческих замыслов, это еще не значит “сломаться” и “изменить себе”. Тут важно другое: кривил ли он при этом душой? То есть — находился ли этот его замысел в противоречии с тем, что он на самом деле думал и чувствовал? Говоря проще: насильовал ли он себя, как

Мандельштам, когда сочинял свою вымученную “Оду” Сталину?

К сожалению, и на этот вопрос мы не можем с уверенностью ответить отрицательно. Во всяком случае, не можем отмахнуться от него с той легкостью, с какой В.Я. Виленкин отмел предположение, что, решив писать пьесу о Сталине, Булгаков “сломался” и “изменил себе”.



В большом, главном своем письме Сталину — том, на которое Сталин отозвался телефонным звонком, — Булгаков не скрыл, что испытывает “глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране”, и даже откровенно признался, что вообще не является сторонником каких-либо революционных процессов, предпочитая им “Великую Эволюцию”.

Не скрыв этих своих взглядов от “Правительства СССР”, к которому обращался, Булгаков тем более не скрывал их от друзей, приятелей, литературных коллег.

Те в ответ над ним добродушно подтрунивали:

Ну, что вы все скопом напали на Мишу?.. Что вы хотите от него? — сказал Ильф. — Миша только-только, скрепя сердце, примирился с освобождением крестьян от крепостной зависимости, а вы хотите, чтобы он сразу стал бойцом социалистической революции. Подождать надо!

(А. Эрлих. *Они работали в газете.*
“Знамя”. 1958. № 8. С. 173)

Шутка, конечно. Но в этой шутке было много правды. Среди писателей своей генерации Булгаков был белой вороной.

В работе “Сталин и Мандельштам” я писал:

...Чтобы попытка прославления Сталина ему удалась, она должна была быть искренней. Он должен был найти в своей душе хоть маленький уголок, хоть крошечный закоулок, не выходя из которого можно было бы убедить себя, что Сталин — не только палач и тупица, играющий “услугами полулюдей”, “тип паразита” и “воплощение нетворческого начала”, но и человек, с которым связаны какие-то светлые надежды.

Мандельштаму найти такую “точку опоры” помогло его отношение к рухнувшему, вдребезги разбившемуся старому миру:

“Ничего, ничего я там не оставил”, — страстно восклицал он.

Он признавал только настоящее. Прошлого для него не существовало. Возвращаться некуда...

*(Эмма Герштейн. Мемуары.
СПб., 1998. С. 18.)*

То же мог бы сказать о себе и Зощенко.

Я вспомнил этот мир. Вспомнил людей, окружающих меня. Вспомнил взаимоотношения.

Нет сомнения, это был несчастный мир....

Какое странное и смешанное чувство я испытал! Какую боль я почувствовал, когда вдруг понял, что этот мир я никогда больше не увижу. И какую радость при этом я испытал!

Но чему же я радовался? О чем сожалел? Что оставил я в том прошлом мире...?

Я не мог понять... И тогда я рассказал об этих своих чувствах одной одинокой женщине. Она была моя сверстница. Но она больше знала о прошлом мире. Она сказала:

— Я не перестаю оплакивать прошлый мир, хотя уже минуло восемь лет с тех пор, как мы его потеряли.

Я сказал:

— Но ведь прошлый мир был ужасный мир. Это был мир богатых и нищих. Он мог устрашать людей. Это был несправедливый мир.

— Пусть несправедливый,— ответила женщина,— но я предпочитаю видеть богатых и нищих вместо тех сцен, пусть и справедливых, но не ярких, скучных и будничных, какие мы видим. Новый мир — это грубый мужицкий мир. В нем нет той декоративности, к какой мы привыкли. Нет той красоты, которая радует наш взор, слух, воображение. И вот в чем наша боль и наше сожаление. Что же касается справедливости, то я с вами не спорю, хотя и предполагаю, что башмак стопнется по ноге.

(М. Зощенко. Перед восходом солнца)

От нового мира, строящегося на развалинах старого, Зощенко тоже был не в восторге. И с женщиной, сказавшей, что “башмак стопнется по ноге”, был, в общем, согласен. В сущности, только об этом он всю жизнь и писал: о том, как стаптывается — уже стоптался! — по ноге этот неказистый новый башмак. Но никакой ностальгии по старому миру он не испытывал. Он тоже “ничего, ничего там не оставил”.

Булгаков — оставил.

Он оставил там уютную квартиру с задернутыми кремовыми шторами, прочно отгородившими ее обитателей от беспокойного внешнего мира. В этой просторной и чистой квартире...

...часто читался у пышущей жаром изразцовой печки “Саардамский Плотник”, часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым... били в столовой черные стенные башенным боем... К ним все так привыкли, что, если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны, бессмертен и Саардамский Плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжелое время живительный и жаркий.

Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле... бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими старинным шоколадом, с Наташей Ростовою, Капитанской дочкой, золоченые чаши, серебро, портреты, портьеры, — все семь пыльных и полных комнат... все это мать в самое трудное время оставила детям...

(Михаил Булгаков. Белая гвардия)

Это — в Киеве. А в Москве — “Калабуховский дом” с швейцаром в передней. Впрочем, там и помимо швейцара было на что посмотреть:

Великое множество предметов загромождало богатую переднюю... Зеркало до самого полу... Оленьи рога в высоте, бесчисленные шубы и калоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком...

(*Михаил Булгаков. Собачье сердце*)

Может показаться, что Булгакова этот исчезающий, в сущности, уже исчезнувший, мир, как и ту зощенковскую даму, тоже привлекал своей декоративностью. Золоченые чаши, серебро, портреты, портьеры, опаловый тюльпан под потолком...

Нет, на самом деле этот рухнувший мир, от которого остались лишь жалкие осколки, которым вскоре тоже предстояло исчезнуть, привлекал его своей *нормальностью*. Тем, что в том мире из галошницы никогда не пропадали галоши. И никому в голову бы не пришло, что парадный подъезд Калабуховского дома надо заколотить, а жильцов заставить ходить с черного хода. И никто не устраивал там “общих собраний”, заканчивавшихся хорovým пением. Потому что каждый в том мире занимался тем, чем надлежало ему заниматься. Кому судьбой назначено было петь, пел (в Большом театре). А оперировать, — тот оперировал. А те, кто должен был подметать улицы, — подметали улицы, а не устраивали судьбу каких-то заграничных оборванцев. И никакому Швондеру там не взбрело бы на ум явиться к профессору Филиппу Филипповичу и потребовать, чтобы он добровольно, “в порядке трудовой дисциплины” две комнаты из своей семикомнатной квартиры уступил другим жильцам. И профессору не пришлось бы саркастически возражать, что он не намерен “в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, обедать в кабинете, а кроликов резать в ванной”.

Разумеется в том нормальном, разумно и прочно (как выяснилось, не так уж прочно) устроенном мире не все жили такой нормальной жизнью, как семья Турбиных или профессор Филипп Филиппович. Кое-кому приходилось ютиться в темных и сырых подвалах. И надрываться на грязной и тяжелой работе по двенадцать, а то и по четырнадцать часов в сутки. Но ведь то были *Шариковы*, которые, как, вероятно, полагал Булгаков, и не заслужили лучшей участи.

Булгаков, быть может, и не признался бы с такой обезоруживающей откровенностью, как его Филипп Филиппович, что он *не любит пролетариата*. Но Шариковых точно не любил. И уж во всяком случае, не верил, что с Шариковыми можно построить социализм.

Не верил он в это не только и даже не столько потому, что Шариков, как охарактеризовал его Филипп Филиппович, слабое в умственном отношении существо, стоящее на самой низшей ступени развития.

На умственные способности Шарикова Булгаков, конечно, тоже не больно рассчитывал. Но еще меньше рассчитывал он на стремление Шариковых к справедливости. И именно в этом пункте он решительно разошелся с Лениным.

В августе-сентябре 1917 года, перебравшись из своего шалаша в Финляндию, где он тоже был на полулегальном положении, Ленин писал свою знаменитую книгу "Государство и революция", ставшую, как нас учили, выдающимся вкладом в марксистскую теорию. Но автору эта его книга представлялась не абстрактной теорией, а прямым руководством к действию. Еще когда он жил в Разливе, в знаменитом своем шалаше, посетил его там Серго Орджоникидзе. С изумлением и восторгом Серго вспоминал потом, что во время этого крат-

кого визита Ильич уверенно сказал ему, что через несколько месяцев в России будет новое правительство, во главе которого будет стоять он, Владимир Ильич Ульянов. Был, правда, и другой вариант: в записке, адресованной более близким своим соратникам, Ленин писал, что если его, как он там выразился, “укокошат”, им во что бы то ни стало надлежит сохранить эти его заметки “О государстве” и при первой возможности опубликовать их.

Исходя из всего этого, мы можем с полной уверенностью утверждать, что ленинская книга “Государство и революция” писалась не ради каких-либо пропагандистских или тактических целей. В ней отразились истинные представления Ленина о том, каким будет (во всяком случае, должно быть) государство, которое он собирался создавать. И наиважнейшим, может быть, даже самым важным в этой системе его представлений был пункт, согласно которому *заработная плата самого высокого государственного чиновника не должна превышать среднюю заработную плату рядового рабочего или служащего.*

Это убеждение сложилось у Ленина давно. Наборщик Владимиров, оставивший воспоминания о жизни Ленина в эмиграции, свидетельствует:

Тов. Ленин всегда говорил, что наборщики должны получать жалованье больше редактора, и я лично получал на три франка больше, чем тов. Ленин.

*(И.М. Владимиров.
Ленин в Женеве и Париже)*

Другой мемуарист — Алин, заведовавший в 1911 году типографией и экспедицией партийного органа, слегка

расходясь с Владимировым в цифрах, подтверждает неукоснительное соблюдение этого принципа:

Члены Центрального Комитета получали жалование 50 франков в неделю, а работники типографии 57 франков.

(Н. Валентинов. Недорисованный портрет)

Тот же принцип, как представлялось Ленину, должен был неукоснительно соблюдаться и после того, как партия большевиков станет *правлящей*, а члены ее Центрального Комитета займут высшие правительственные посты в государстве. Так оно на первых порах и было. И даже не только на первых порах: принцип “партмаксимума” (максимального месячного оклада для членов коммунистической партии, занимавших руководящие посты) сохранялся до 1934 года. И “максимум” этот был невысок, о чем свидетельствует хотя бы вот такой пример, взятый мною из Большого академического словаря русского языка:

Что можно сделать на партмаксимум? Только прожить.

(Словарь современного русского литературного языка в 17 томах)

Но ни партмаксимум, на которой можно было “только прожить”, ни всякие другие попытки соблюдать тот основополагающий ленинский принцип, как мы знаем, не помогли.

Жизнь показала, что Ленин, при всем своем незаурядном уме, оказался глупее булгаковского Шарикова. Потому что проблема заключалась не в том, какую зарплату будет получать высший, или средний, или даже са-

мый маленький государственный чиновник, а в том, *будет ли он жить со своей секретаршей.*

Булгаковский Шариков, едва только сделали его “заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и прочее) в отделе М.К.Х.”, тотчас же привел в роскошную квартиру Филиппа Филипповича “худенькую, с подрисованными глазами барышню в кремовых чулочках” и объявил:

— Эта наша машинистка, жить со мной будет.

На этом своем посту “заведующего подотделом” Шариков зарплату получал, наверно, никак не больше партмаксимума. И может быть, даже не больше, чем эта вот самая машинисточка. Возникает вопрос: почему же в таком случае эта худенькая барышня с подрисованными глазами так быстро и легко уступила домогательствам Полиграфа Полиграфовича?

Как выразился по несколько иному поводу другой персонаж того же Булгакова: подумаешь, бином Ньютона!

Да потому, что Полиграф Полиграфович был *ее начальник*. А начальник — это начальник. И совершенно неважно, какой у него “оклад жалованья”, и носит ли он мундир коллежского регистратора или толстовку “заведующего подотделом очистки”. Во все времена, при всех режимах секретарша всегда жила и будет жить со своим начальником, и никакой партмаксимум ее от этого не защитит.

Владимир Ильич был, конечно, человек гениальный. А вот до такой простой вещи не додумался. Шариков же смекнул это мгновенно, из чего следует, что в самих основах жизни он разбирался гораздо лучше Ленина.

Справедливости ради тут надо отметить, что Ленин, конечно, возможность такого поворота событий тоже

не исключал. На его языке это называлось опасностью *перерождения*. (Для того чтобы этой опасности избежать, как раз и вводился партмаксимум.) Но суть дела заключается в том, что никакое это не перерождение, а неизбежное проявление *извечных* свойств человеческой природы: сколько ни старайся установить всеобщее равенство, как его ни провозглашай, какими законами ни защищай, все равно среди равных обнаружатся желающие стать (по слову Оруэлла) *более равными*. И непременно станут.

Тут надо сказать, что Оруэлл это понял сравнительно поздно, когда ленинско-сталинский социализм уже показал себя по всей своей красе. Булгаков же это ясное понимание самой сути дела обнаружил, когда так называемый новый мир, возникший на развалинах старого, еще только-только формировался.

Даже Ходасевич, желчный, скептический Ходасевич, не склонный ни к каким самообольщениям, — и тот на первых порах был обольщен лозунгами большевистской революции. Булгаков не поверил в эту химеру ни на секунду. Он, как та зощенковская дама, не сомневался, что башмак стопнется по ноге.

Все это, конечно, не помешало бы Булгакову написать пьесу, прославляющую Сталина, если бы он дожился до тех времен, когда Сталин сменил свою куцую “сталинку” на мундир генералиссимуса, ввел в армии погоны, переименовал наркомов в министров и даже школьников обрядил в гимназическую форму. Нельзя сбрасывать со счета и то чувство благодарности, которое вызвал в нем сталинский телефонный звонок. И тот разговор, который Сталин с ним вел “сильно, ясно, государственно и элегантно”.

Но до времен, когда Сталин предстал перед миром

в роли *реставратора*, Булгаков не дожил. А очарование того телефонного разговора, который Сталин так элегантно провел с ним в апреле 1930 года, за минувшие с тех пор девять лет тоже, наверно, сильно потускнело.

Но главное тут даже не это.

Главное препятствие к тому, чтобы создавать эту пьесу с полной душевной отдачей, искренне и вдохновенно, заключалось в том, что пьесу-то Булгаков сочинял не просто о Сталине, а о *Сталине-революционере*. По самому замыслу этой своей пьесы он должен был прославлять в ней ту самую революцию, от которой ничего хорошего не ждал.

Я не стану утверждать, что Булгаков *вымучивал* эту свою пьесу, как Мандельштам свою сталинскую “Оду”. Работа драматурга не в такой степени зависит от душевного состояния автора, как творческий акт лирического поэта. Пьесу в конце концов можно написать и на голом профессионализме. И тут автор может увлечься и какими-то чисто профессиональными задачами, которые перед собой поставит. Но — “того уж не будет!”

Все это, конечно, можно легко опровергнуть как беспочвенные домыслы и догадки. Откуда, мол, нам знать, что происходит (происходило) в душе художника. Но эти мои домыслы и догадки, увы, подтверждаются свидетельством Елены Сергеевны Булгаковой, ее дневниками.

Там полно записей, говорящих о том, как восторженно слушали отрывки из создающейся пьесы ближайшие друзья драматурга и приглашавшиеся на эти чтения мхатовцы. Как, затаив дыхание, следили они за разворачивающимися перед ними сценами. Какие искренние комплименты они ему при этом всякий раз высказывали:

Миша рассказывал и частично прочитал написанные картины. Никогда не забуду, как Виленкин, закоченев, слушал, стараясь разобраться в этом...

И вдруг:

Вечером у нас Борис. Пришел с конференции режиссеров...

Миша немного почитал из пьесы. Весь вечер — о ней. Миша рассказывал, как будет делать сцену демонстрации. Настроение у Миши убийственное.

*(Дневник Е.С. Булгаковой. 11 июня 1939 г.
В кн.: Воспоминания о Михаиле Булгакове.
М., 2006. С. 267)*

Если все так хорошо, почему же все так плохо!

Если работа над пьесой идет полным ходом, и прочитанные сцены всем нравятся, и театр ждет не дождется, когда же наконец он закончит этот свой труд, — с чего бы у него вдруг это убийственное настроение?

Не так уж, значит, все хорошо там у него, в его “творческой лаборатории”, в его душевном хозяйстве.

Тут, конечно, еще надо учитывать и омрачающие его сознание дурные предчувствия. Ни на минуту не оставляющий его страх, что все эти его усилия — зря: ничего хорошего из этого его насилия над собой всё равно не выйдет, все кончится не добром.

Недаром, когда катастрофа разразилась, он встретил ее так, словно ничего другого и не ждал:

Из Петергофа я переехал в Суханово, под Москву, — у меня оставалось еще больше двух недель отпуска, но не успел я прожить там и трех дней, как получил из те-

атра телеграмму от В.Г. Сахновского, срочно вызывавшего меня в Москву.

Оказалось, что мне предстоит выехать четырнадцатого августа вместе с Михаилом Афанасьевичем, Еленой Сергеевной и режиссером-ассистентом П.В. Лесли в Батуми и Кутаиси для сбора и изучения местных архивных материалов и вообще для всяческой помощи Михаилу Афанасьевичу, на случай если она ему понадобится. На Кавказе к нам должны были присоединиться уже находившиеся там В.В. Дмитриев — он был художником спектакля — и заведующий Постановочной частью МХАТ И.Я. Гремиславский.

Все мы вместе именовались “бригадой”, а Михаил Афанасьевич был в этой командировке нашим “бригадиром”. Своим новым наименованием он, помнится, был явно доволен и относился к нему серьезно, без улыбки. Наконец наступило 14-ое, и мы отправились, с полным комфортом, в международном вагоне. В одном купе — мы с Лесли, в другом, рядом — Булгаковы. Была страшная жара. Все переоделись в пижамы. В “бригадирском” купе Елена Сергеевна тут же устроила отъездный “банкет”, с пирожками, ананасами в коньяке и т. п. Было весело. Пренебрегая суевериями, выпили за успех. Поезд остановился в Серпухове и стоял уже несколько минут. В наш вагон вошла какая-то женщина и крикнула в коридоре: “Булгахтеру телеграмма!” Михаил Афанасьевич сидел в углу у окна, и я вдруг увидел, что лицо его сделалось серым. Он тихо сказал: “Это не булгахтеру, а Булгакову”. Он прочитал телеграмму вслух: “Надобность поездке отпала возвращайтесь Москву”...

Вечером позвонила Елена Сергеевна: они вернулись из Тулы, на случайной машине. Михаил Афанасьевич заболел. Они звали меня к себе.

Михаил Афанасьевич был в это время, конечно, в тяжелейшем душевном состоянии; таким угнетенным я его еще никогда не видел, даже после “Мольера”...

(В. Виленкин. *Воспоминания с комментариями.*
М., 1982. С. 399–400)

Непосредственно перед этой записью В.Я. Виленкин приводит письмо Михаила Афанасьевича, полученное им накануне.

Кончалось оно так:

... думаю — какова будет участь пьесы. Погадайте. На нее положено много труда.

(Там же. С. 399)

Дело, конечно, было не только в том, что на эту пьесу им было положено много труда. С ней, с этой его пьесой, с ее грядущей судьбой были связаны все его надежды на будущее. А без нее у него не было не только будущего, но и настоящего.

Тут дело было даже не в изгойстве, не в отщепенчестве, не в постоянной газетной и реперткомовской травле, а в том, что он как действующий писатель и драматург просто *перестал существовать*.

...утвердилось и крепло во мне убеждение, что писатель он средний... Правда, на сцене порой давались его пьесы, но я не видел их.

Он был в беде, на мели. Работал в Художественном театре. Не то литератор, не то режиссер. Среди великих Олимпа тридцатых годов, которых на все лады возносила критика, он был почти неизвестен. И как-то ис-

подволь, но фундаментально кристаллизовалось мнение, что он сошел.

(Е. Габрилович. Вещичка. В кн.: Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 1988. С. 345)

Так воспринимал Булгакова в описываемое время его коллега-драматург, младший его товарищ по литературному цеху. Так что уж говорить о рядовых читателях и зрителях.

Когда в 1932 году после большого перерыва МХАТ восстановил постановку “Дней Турбиных”, возник один деликатный вопрос. По старинному театральному обычаю в таких случаях на аплодисменты и вызовы зрителей на сцену вместе с актерами кланяться выходит и автор. Казалось бы, и в этом случае не было никаких причин, чтобы эту традицию нарушить. Возобновить спектакль распорядился сам Сталин! Чего ж вам больше?

Но Станиславский выхода Булгакова на сцену боялся смертельно. И послал к нему за кулисы специального гонца, чтобы уговорить опального автора на вызовы не выходить.

Актеры волновались так, что бледнели под гримом, тело их покрывалось потом, а глаза были настороженные, выпрашивающие.

Когда возбужденные до предела петлюровцы погнали Николку, помощник выстрелил у моего уха из револьвера, и этим мгновенно привел меня в себя.

На кругу стало просторно, появилось пианино, и мальчик баритон запел эпиталаму.

Тут появился гонец в виде прекрасной женщины. У меня в последнее время отточилась до последней степени способность, с которой очень тяжело жить. Спо-

способность заранее знать, что хочет от меня человек, подходящий ко мне. По-видимому, чехлы на нервах уже совершенно истрепались, а общение с моей собакой научило меня быть всегда настороже. Словом, я знаю, что мне скажут, и плохо то, что я знаю, что мне ничего нового не скажут. Ничего неожиданного не будет, все — известно. Я только глянул на напряженно улыбающийся рот и уже знал — будет просить не выходить...

Гонец сказал, что Ка-Эс звонил и спрашивает, где я и как я себя чувствую?

Я просил благодарить — чувствую себя хорошо, а нахожусь я за кулисами и на вызовы не пойду.

О, как сиял гонец! И сказал, что Ка-Эс полагает, что это мудрое решение.

Особенной мудрости в этом решении нет. Это очень простое решение. Мне не хочется ни поклонов, ни вызовов, мне вообще ничего не хочется, кроме того, чтобы меня Христа ради оставили в покое...

Вообще мне ничего решительно не хочется.

Занавес давали 20 раз. Потом актеры и знакомые засыпали меня вопросами — зачем не вышел? Что за демонстрация? Выходишь так: выйдешь — демонстрация, не выйдешь — тоже демонстрация.

(Из письма П.С. Попову. 24 апреля 1932 г.

Михаил Булгаков. Собрание сочинений в пяти томах.

Том 5. М., 1990. С. 478)

Странная получается картина. Успех у спектакля грандиозный. И вполне официальный успех. В ложе сидит Сталин, аплодирует. Не только актерам и режиссерам, надо полагать, но и автору. А автора — нет. Автор не существует.

Этот щелчок, конечно, можно было пережить, но “чехлы на нервах” у автора к этому времени уже “совершенно истрепались” еще и потому, что буквально за несколько дней до этой премьеры он получил еще один весьма чувствительный удар.

Вот как он рассказывает об этом в письме тому же П.С. Попову, отправленном адресату 19 марта того же года:

Дорогой Павел Сергеевич!
Разбиваю письмо на главы. Иначе запутаюсь.

Глава 1. Удар финским ножом

Большой Драматический Театр в Ленинграде прислал мне сообщение о том, что Худполитсовет отклонил мою пьесу “Мольер”. Театр освободил меня от обязательств по договору...

Когда сто лет назад командора нашего русского ордена писателей пристрелили, на теле его нашли тяжкую pistolетную рану. Когда через сто лет будут раздевать одного из потомков перед отправкой в дальний путь, найдут несколько шрамов от финских ножей. И все на спине. Изменилось оружие!

*(Михаил Булгаков. Собрание сочинений в пяти томах.
Том 5. М., 1990. С. 474–475)*

Одним из этих ударов финским ножом в спину — последним, от которого он уже не смог оправиться, — было для Булгакова запрещение Сталиным его пьесы “Батум”.

Но почему Сталин нанес ему этот смертельный удар? Почему решил запретить эту булгаковскую пьесу, запрещать которую вроде не было никакого резона и которая, по некоторым сведениям, ему даже нравилась?



Официальное объяснение было такое:

Нельзя такое лицо, как И.В. Сталин, делать романтическим героем, нельзя ставить его в выдуманные положения и вкладывать в его уста выдуманные слова. Пьесу нельзя ни ставить, ни публиковать.

*(Дневник Е.С. Булгаковой.
В кн.: Воспоминания о Михаиле Булгакове.
М., 2006. С. 281)*

Этот вердикт сообщил Булгаковым явившийся к ним вскоре после катастрофы Сахновский. Он же сообщил, что объяснение это (очевидно, в ответ на недоумевающий запрос театра) последовало “с самого верха”.

Объяснение — притом что есть в нем, конечно, своя логика и даже вытекающий из этой логики свой резон, — вполне дурацкое. Дурацкое оно потому, что такая установка начисто исключала любое поползновение сделать Сталина героем художественного произведения. Мыслимое ли это дело — написать роман, или повесть, или пьесу, или хоть рассказ, главный герой которых ни при каких обстоятельствах не может быть поставлен в “выдуманные положения” и произносить “выдуманные слова”.

Тут надо сказать, что в то время уже была написана и — мало того! — с успехом шла на сцене пьеса о молодом Сталине, сочиненная грузинским драматургом Шалвой Дадиани. Пьеса называлась “Из искры”.

Автор этой пьесы то ли чутьем искусного царедворца угадал, что в уста вождя нельзя вкладывать “выдуманные слова”, то ли бедность его художественной фантазии помешала ему это сделать, пошел самым про-

стым путем. Сталин в его пьесе изъяснялся преимущественно цитатами из своих статей и докладов. На пьесу эту и поставленный по ней спектакль журнал “Театр” откликнулся большой статьей, весьма высоко оценившей их художественные достоинства. К числу несомненных достоинств было в этой статье отнесено и то, что

... товарища Сталина в пьесе окружают не только исторические персонажи, но и вымышленные.

(А. Андроникашвили. Образ молодого вождя. “Театр”, 1939, № 11–12)

Стало быть, и автору этой пьесы по ходу дела тоже приходилось ставить Сталина в “выдуманные положения” и заставляя его говорить “выдуманными словами”. (К этому сюжету мы еще вернемся.) Тем не менее, однако, пьеса Дадиани “наверху” была встречена вполне благожелательно. Спектакли по ней шли в трех драматических театрах Тбилиси. В театре имени Руставели в роли Сталина с успехом дебютировал М. Геловани, и этот успех определил всю его дальнейшую театральную и кинематографическую судьбу. А автор пьесы сразу был причислен к разряду самых выдающихся драматургов страны:

Докладная записка Председателя Комитета по делам искусств при СНК СССР П.М. Керженцева И.В. Сталину и В.М. Молотову с предложениями об организации конкурса на лучшую пьесу об Октябрьской Революции.

19 февраля 1936 г.

По вопросу об организации закрытого конкурса на пьесу и сценарий об Октябрьской революции в связи

с двадцатилетием Октябрьской революции выдвинуть следующие соображения:

1. *Задание.*

Показать роль Ленина (и Сталина) в подготовке и проведении Октябрьской революции, выявить организующую роль партии...

2. *О пьесе*

Включить в конкурс следующих девять драматургов: Алексея Толстого, Корнейчука, Микитенко, Киршона, Вс. Иванова, Тренева, Вишневского, Дадиани, Афиногенова.

*(Власть и художественная интеллигенция.
С. 295)*

По официальной тогдашней табели о рангах не только А.Н. Толстой, Тренев, Вс. Иванов и Вс. Вишневский, но и Корнейчук, и Киршон, и Афиногенов были звездами самой первой величины.

Вот к какому сонму был причислен Шалва Дадини, сочинив свою пьесу о молодом Сталине. Удостоился он и других августейших милостей: в 1937 году стал депутатом Верховного Совета СССР.

Получается, что объяснение, которое “с самого верха” получил Сахновский и которое передал Булгакову, не отражало истинных причин запрета булгаковского “Батума”.

О том, каковы были неназванные, подлинные причина августейшего неудовольствия, можно было только гадать.

Одну такую догадку высказал Федор Николаевич Михальский (в “Театральном романе” Филя).

Вот что записала по этому поводу 31 августа 1939 года в своем дневнике Елена Сергеевна Булгакова:

Вечером у нас Федя. Миша прочитал ему половину пьесы. Федя говорил — гениальная пьеса и все в таком роде. Высказывал предположения, что могло сыграть роль при запрещении: цыганка, родинка, слова, перемежающиеся с песней.

*(Воспоминания о Михаиле Булгакове.
М., 2006. С. 286)*

Догадку эту скрупулезно проанализировал А. Смелянский в своей книге “Михаил Булгаков в Художественном театре”. К предположениям Фили он отнесся в высшей степени серьезно и в принципе склонен был с ними согласиться, добавив к ним и свои, не лишённые правдоподобия соображения:

Криминальная цыганка появляется в рассказе исключенного из семинарии Сталина. У юноши нет копейки денег, потому что последний рубль он истратил на гадание: “Понимаешь, пошел купить папирос, возвращаюсь на эту церемонию, и под самыми колоннами цыганка встречается. “Дай погадаю, дай погадаю”. Прямо не пропускает в дверь. Ну, я согласился. Очень хорошо гадают. Все, оказывается, исполнится, как задумал. Решительно сбудется все. Путешествовать, говорит, будешь много. А в конце даже комплимент сказала — большой ты будешь человек! Безусловно стоит заплатить рубль”. Сцена гадания показалась Ф. Михальскому сомнительной не зря: что ж это получается, “историческая необходимость”, которая явила себя в образе вождя, подменяется гаданием судьбы за рубль у цыганки? Да и ответ одноклассника двусмысленный: “Нет, брат ты мой, далеко не так славно все это получится, как задумал. Да

и путешествия-то, знаешь, они разного типа бывают... Да, жаль мне тебя, Иосиф, по-товарищески тебе говорю”.

О “родинке” речь идет в четвертой картине. Полковник Трейниц сообщает губернатору о приметах преступника Джугашвили: “Телосложение среднее. Голова обыкновенная. Голос баритональный. На левом ухе родинка”. Приметы, конечно, нехорошие (как это у вождя народов, друга всех артистов “голова обыкновенная” и родинка на ухе?). Мотив “родинки”, по остроумному наблюдению М. Петровского, отсылает нас к “Борису Годунову”, к “бородавке” Гришки Отрепьева. Тифлисский семинарист и русский беглый монах объединены темой самозванства, безусловно внятной для “пушкиниста” Булгакова. Не менее опасен, чем “родинка”, текст, который следует дальше. На телеграмму полковника жандармерии “Сообщите впечатление, которое производит наружность?” зачитывается обескураживающий ответ: “Наружность упомянутого лица никакого впечатления не производит...”

Ничего не скажешь, догадлив был Федор Николаевич Михальский, Филя, не зря Булгаков наградил его в “Театральном романе” совершенным пониманием людей. “Наружность упомянутого лица никакого впечатления не производит...”. Эта шутка, самопогибельная для автора, могла еще восприниматься на фоне облетевшей мир фразы Троцкого, изгнанного из Советской России и заявившего в первом же зарубежном интервью о Сталине как “самой выдающейся посредственности нашей партии”.

*(А. Смелянский. Михаил Булгаков
в Художественном театре.
М., 1989. С. 372–373)*

С тем, как автор этого разбора комментирует сцену гадания, можно согласиться. Тут доводы его вполне резонны. Что же касается родинки и фразы “Наружность упомянутого лица никакого впечатления не производит”, то здесь, как мне кажется, он “накрутил много лишнего”.

Чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать соответствующую сцену пьесы.

Приведу ее здесь, благо она невелика:

ГУБЕРНАТОР. А как они так? Э... не обезвредили?..
Ведь они должны же были...

ТРЕЙНИЦ. Ну, формально они сделали что полагается. В том числе бесплодный обыск. Они отнеслись неряшливо к этому лицу, плохо взяли его в проследку, и он ушел в подполье... Да вот, не угодно ли. На мою телеграмму о приметах они отвечают буквально (*вынимает из портфеля листок, читает*): “Джугашвили. Телосложение среднее. Голова обыкновенная. Голос баритональный. На левом ухе родинка”. Все.

ГУБЕРНАТОР. Ну, скажите! У меня тоже обыкновенная голова. Да, позвольте! Ведь у меня тоже родинка на левом ухе! Ну да! (*Подходит к зеркалу.*) Положительно это я!..

ТРЕЙНИЦ. Дальше телеграфирую: “Сообщите впечатление, которое производит его наружность”. Ответ: “Наружность упомянутого лица никакого впечатления не производит”...

ГУБЕРНАТОР. Я не понимаю, что нужно для того, чтобы, ну, скажем, я произвел на них впечатление? Неужели же нужно, чтобы у меня из ноздрей хлестало пламя?

Автор тут действительно шутит. Но ничего “самопогибельного” в этой его шутке нет и в помине. Шутит он

и даже глумится над тупостью полицейских донесений, бессмысленность которых очевидна даже для не шибко умного губернатора, что явствует из последней его реплики. (“Неужели же нужно, чтобы из ноздрей хлестало пламя?”)

Понравившаяся Смелянскому догадка М. Петровского насчет того, что мотив “родинки” будто бы “отсылает нас к “Борису Годунову”, к “бородавке” Гришки Отрепьева”, с которым Сталин таким образом объединен темой самозванства, действительно не лишена остроумия. Но трудно — даже невозможно! — представить себе, чтобы “пушкинист” Булгаков осмелился позволить себе такие намеки. И уж тем более, чтобы он позволил себе глумиться над заурядностью сталинской внешности, тем самым как бы даже поддакивая высланному за границу Троцкому.

Не для того писалась эта пьеса, чтобы автор ее позволял себе такие “самопогибельные” шуточки.

Но совсем уж надуманным, я бы даже сказал, изумляющим своей фантастичностью, представляется мне предлагаемое Смелянским истолкование третьего Филиного предположения:

Наконец, “слова, перемежающиеся с песней”. Что тут скрыто? Ведь в “Батуме” поют много, по разным поводам и в разных местах. Однако догадка Ф. Михальского, не оспоренная в булгаковском доме, относится только к первой половине пьесы. Сопоставив музыкальные номера двух действий “Батума”, приходишь к единственному выводу: внимательный и остроумный слушатель-современник мог “заподозрить” сцену встречи Нового года, именно там поют под гитару, соло и хором, именно там, перемежаясь с песней, “товарищ

Сосо” произносит загадочный новогодний тост, в котором Ф. Михальский не зря предположил крамольное содержание.

“Существует такая сказка, — начинает Сталин, — что однажды в рождественскую ночь черт месяц украл и спрятал его в карман.

И вот мне пришло в голову, что настанет время, когда кто-нибудь сочинит не сказку, а быль. О том, что некогда черный дракон похитил солнце у всего человечества. И что нашлись люди, которые пошли, чтобы отбить у дракона это солнце, и отбили его. И сказали ему: “Теперь стой здесь в высоте и свети вечно! Мы тебя не выпустим больше!”

Сложная и опасная смысловая игра тут построена на сдваивании мотивов Христа и Антихриста. Дело происходит не просто в новогоднюю ночь, но в ночь на 902 год, что специально отмечено драматургом. Новый век начинается с явления Антихриста, “рябого черта”, укравшего солнце: в предыдущей сцене Сталин общается рабочему юноше Порфирию, что его называют кличкой Пастырь, кличкой, которая в контексте сказки получает особое значение. Пастырь, изгнанный из семинарии, отпавший от бога, не есть ли он тот самый “черный дракон”? В пользу этой гипотезы свидетельствует не только Ф. Михальский, но и текстологическая история “новогодней сцены”. Во всех редакциях, кроме последней, Булгаков сохранял официально-казенную речь юного вождя, взятую напрокат из сборника “Батумская демонстрация”. В этой роскошной подарочной книге, вышедшей в 1937 году, не раз указано на чисто политический характер новогоднего тоста “товарища Сосо” и несколько раз воспроизведен сам этот тост. Ни о каком черте, спрятавшем месяц в карман, ни о ка-

ком “черном драконе” нет и намека. В большинстве случаев строго придерживаясь фактической основы багумских событий (естественно, в официозной трактовке), Булгаков неожиданно отступил от этого правила в одной из ключевых сцен. Новогодний тост Сосо, резко выделенный на фоне зауряднейшего словесного массива сталинской речи, был прорывом подавленного поэтического сознания. “Кудесник”, исполняя ритуальное жертвоприношение, вдруг взял неожиданные ноты. “Отдельвая” и “украшая” пьесу, создатель Воланда стал помечать ее тайными знаками совсем иного замысла.

(А. Смелянский. Михаил Булгаков
в Художественном театре.
М., 1989. С. 373–374)

Ф.Н. Михальский, надо полагать, был бы сильно изумлен такой трактовкой высказанной им догадки насчет того, что неудовольствие генсека могли вызвать “слова, перемежающихся с песней”. Тем более что сцену при этом он, скорее всего, имел в виду не ту, которую так остроумно толкует Смелянский, а совсем другую.

Вот эту:

КРИК В ТОЛПЕ. “Стрелять будут!”

МИХА. Не будут стрелять! Стойте крепко!

РОТА (поет):

“Шел я речкой, камышом,

Видел милку нагишом!...”

СТАЛИН. Товарищи! Нельзя бежать! Стойте тесно, стеной!

РОТА (поет):

“Шел я с милкою в лесу,

Милку дернул за косу!..”

Иначе солдаты навалятся, озвереют! Прикладами покалечат! Пропадет народ!

*(Мих. Булгаков. Собр. соч.
Т. 5. С. 543–544)*

Филя, естественно, предположил, что скабрзные, полупохабные куплеты солдатской песни, которыми перемежаются патетические восклицания Сталина, идущего во главе толпы, могли покоробить августейшего читателя, показаться ему бестактностью. Но Смелянскому более интересной представляется его догадка, благодаря которой сервильная пьеса Булгакова может читаться как разоблачительная.

Он, правда, не осмеливается утверждать, что разоблачение “рябого черта” входило в замысел Булгакова. По его версии, этот опасный мотив возник как бы неожиданно для самого автора, выскочил вдруг из его подсознания. Но эта оговорка дела не меняет. При таком раскладе у Сталина были основания не только запретить пьесу, но и с автором ее расправиться по-своему, по-сталински.

Нечто похожее было высказано однажды Иосифом Бродским по поводу посвященной Сталину сервильной мандельштамовской “Оды”:

На мой вкус, самое лучшее, что про Сталина написано, это — мандельштамовская “Ода” 1937 года.. На мой взгляд, это, может быть, самые грандиозные стихи, которые когда-либо написал Мандельштам. Более того. Это стихотворение, быть может, одно из самых значительных событий во всей русской литературе XX века. Так я считаю.. Я даже не знаю, как это объяснить, но попробую. Это стихотворение Мандельштама — одновременно и ода, и сатира. И из комбинации этих двух

противоположных жанров возникает совершенно иное качество... Вы знаете, будь я Иосифом Виссарионовичем, я бы на то сатирическое стихотворение (*имеется в виду крамольное стихотворение Мандельштама про «кремлевского горца»*. — Б.С.) никак не осерчал бы. Но после “Оды”, будь я Сталин, я бы Мандельштама тотчас зарезал. Потому что я бы понял, что он в меня вошел, вселился. И это самое страшное, сногшибательное.

(Соломон Волков. *Диалоги с Иосифом Бродским*.
М., 2004. С. 51–54)

Между пьесой Булгакова о молодом Сталине и сталинской “Одой” Мандельштама и в самом деле есть нечто общее. Но это общее — совсем другого рода.

Смелянский это тоже отметил, но вывод из этого своего наблюдения не сделал, поскольку невольно напрашивающийся вывод этот не только не сходится с процитированными выше его рассуждениями, но даже вступает с ними в кричащее противоречие.

14 июня написана сцена в кабинете у губернатора. “Какая роль!” — восклицает Елена Сергеевна, и мы, спустя полвека, можем подтвердить, что сцена написана хорошо. В ней нет юного Джугашвили, в ней роскошный вальяжный губернатор (роль явно примерена на Качалова). Нет Сосо — и всё на месте: и несравненное булгаковское остроумие, и легкий искрящийся диалог, все сверкает и переливается, чтобы тут же замереть и оцепенеть, как только в пьесе появляется “настоящий герой”. Сражение поэта с “рогатой нечистью” переполняет пьесу.

(А. Смелянский. *Михаил Булгаков в Художественном театре*. М., 1989.
С. 365–366)

Не случайно драматург в этом отрывке назван поэтом. И уж совсем не случайно возникает тут словосочетание “рогатая нечисть”, взятое из воспоминаний Н.Я. Мандельштам о том, как Осип Эмильевич насилует себя, трудясь над своей злополучной сталинской “Одой”.

В сущности, тут прямо сказано (куда уж прямее!), что Булгаков, работая над этой своей пьесой, повторил печальный опыт Мандельштама.

Оспаривая рассуждения Смелянского о сценах, которые могли стать причиной запрета булгаковского “Батума”, и даже слегка иронизируя по поводу этих его рассуждений, я вовсе не исключаю, что сцены эти и в самом деле могли вызвать неудовольствие Сталина.

Но еще большее его неудовольствие наверняка вызвала совсем другая сцена.

Смелянский пересказывает ее и трактует, продолжая и развивая намеченную им тему “Сталин — Антихрист”:

Если бы Ф. Михальский дослушал “Батум” до конца, он обнаружил бы по крайней мере еще одно удивительное превращение темы черта, укравшего солнце у человечества. Решающей в этом плане оказывается восьмая картина пьесы — сцена в тюрьме.

Там уголовники избивают политических. Там Сталин, вцепившись в решетку, кричит сквозь нее: “Эй, товарищи! Слушайте! Передавайте! Женщину тюремщик бьет! Женщину тюремщик бьет!” В этой сцене звучат частушки, которыми один из уголовников потчует нагрянувшего в тюрьму губернатора (того самого, что примерял к себе приметы Джугашвили — “обыкновенную голову” и родинку на левом ухе): “Царь живет в больших палатах, / И гуляет и поет! (уголовные подхватывают). / Здесь же в сереньких халатах / Дохнет в

карцерах народ”. Мало того, что тюремная сцена могла вызвать неизбежные для 1939 года лагерные ассоциации (слова “арест” и “тюрьма” подчеркнуты и обведены Булгаковым как ключевые на первой же странице тетради, в которой осенью 1938 года начата новая пьеса). Однако “тюремным колоритом”, частушками Булгаков не ограничился. Он завершил сцену и весь акт беспрецедентным в сталинской агиографии эпизодом, в котором мотив Антихриста, притворившегося Христом, явлен с вызывающей отчетливостью. Напомню финал сцены. Сталина переводят в другую тюрьму, один из надзирателей вынул револьвер и встал сзади заключенного: “НАЧАЛЬНИК ТЮРЬМЫ (*тихо*). У, демон проклятый! (*Уходит в канцелярию.*)

Когда Сталин равняется с первым надзирателем, лицо того искажается.

ПЕРВЫЙ НАДЗИРАТЕЛЬ. Вот же тебе!.. Вот же тебе за все! (*Ударяет ножнами шашки Сталина.*)

Сталин вздрагивает, идет дальше.

Второй надзиратель ударяет Сталина ножнами. Сталин швыряет свой сундучок. Отлетает крышка. Сталин поднимает руки и скрещивает их над головой так, чтобы оградить ее от ударов. Идет.

Каждый из надзирателей, с которыми он равняется, норовит его ударить хоть раз. Трейниц появляется в начале подворотни, смотрит в небо.

СТАЛИН (*доходит до ворот, поворачивается, кричит*).
Прощайте, товарищи!

Тюрьма молчит.

ПЕРВЫЙ НАДЗИРАТЕЛЬ. Отсюда не услышат”.

Конечно, можно трактовать этот эпизод в лестном для вождя плане. Второй слой сцены напоминает восхождение на Голгофу — смысл, несомненно, внятный бывшему семинаристу. Однако под внешней лессировкой библейского сопоставления проступает небывалый по “великолепному презренью” смысловой эффект. Брошенное в лицо Джугашвили определение — “У, демон проклятый!” (этой важнейшей реплики нет ни в одной из ранних редакций!), избивение его тюремщиками как простого зэка, а не небожителя — такого рода “выдуманные положения” делали “официозную” пьесу немислимой не только на мхатовских, но и на любых иных советских подмостках той поры.

*(А. Смелянский. Михаил Булгаков
в Художественном театре.
М., 1989. С. 374–375)*

Эпизод этот Смелянский называет выдуманным и “беспрецедентным в сталинской агиографии”. Но на самом деле ни выдуманным, ни — тем более — беспрецедентным в официальной советской “сталиниане” он отнюдь не был. Сцена прохождения молодого Сталина сквозь строй избивающих его охранников к тому времени, когда Булгаков задумал и начал сочинять свою пьесу, уже была хрестоматийной. И выдуманной она тоже не была.

22 января 1928 года в парижской белоэмигрантской газете “Дни”, выходявшей под редакцией А.Ф. Керенского, появилась подвальная статья некоего Семена Верещака — “Сталин в тюрьме. Воспоминания политического заключенного”.

Статья Верещака попала на глаза Демьяну Бедному, и он использовал ее для создания уже зарождавшегося в то время культа вождя.

Вот как он выглядел в процитированном Демьяном отрывке из воспоминаний Верещака:

В синей сатиновой косоворотке, с открытым воротом, без пояса и головного убора, с перекинутым через плечо башлыком, всегда с книжкой...

Когда в 1909 году, на первый день Пасхи, первая рота Сальянского полка пропускала через строй, избивая весь политический корпус, Коба шёл, не сгибая головы под ударами прикладов, с книжкой в руках.

Далее следовал довольно эффектный стихотворный комментарий Демьяна:

Вот посмотрите-ка!

Как оскандалилась вражеская критика,

Сталин — не эсеровского романа герой,

Но правда любые прорывает плотины.

Разве “сталинское прохождение сквозь строй”

Не сюжет для героической картины?!

Обращаюсь к писателям, особенно к тем,

Что танцуют на обывательско-мещанском канате:

Вы не имеете героических тем?

Нате!

Это обращение было подхвачено и повторено с трибуны Первого съезда советских писателей выступившим там с приветствием от имени Президиума Общества старых большевиков Емельяном Ярославским:

Кто дал нам, кроме “Матери” Горького, другое классическое произведение, достойное этой эпохи?..

Вы знаете, например, рассказ о том, как т. Сталин, будучи в тюрьме, однажды вместе с другими был избит

тюремной стражей, полицейскими, согнанными туда солдатами. Он проходил через строй, держа книгу Маркса в руках, с гордо поднятой головой.

Вот вам замечательный образ революционера. Почему же до сих пор нет такого произведения?

*(Первый Всесоюзный съезд советских писателей.
Стенографический отчет. М., 1934. С. 249)*

Прошло три года. Сентябрь 1937 года. В Париже завершается второй международный антифашистский конгресс писателей в защиту культуры. В почетном президиуме — весь цвет тогдашней мировой литературы: Роллан, Мальро, Арагон, Хемингуэй, Бернард Шоу, Томас и Генрих Манны, Фейхтвангер, Антонио Мачадо, Хосе Бергамин... Идет заключительное заседание. Зал театра “Порт сен Мартен” переполнен. На трибуне — советский драматург Всеволод Вишневский. Он восклицает:

Сталин! Наш Сталин! В его жизни есть случай, который должен стать достоянием всей мировой литературы... В тюрьме он был центром духовного сопротивления, примером предельной выдержки и волевой устремленности. Был день, когда администрация вызвала войска, чтобы устроить избиение непокорных политических заключенных. Их прогнали сквозь строй. Удары сыпались на плечи, грудь и голову. Или по глазам. Сталин взял книгу, зажал ее под руку, взглянул на оступелых, потных, тяжело дышащих палачей и пошел сквозь строй под сотни ударов. Сталин шел молча, ровным шагом. Так он прошел этот путь. Не согнувшись, не крикнув...

*(Виталий Шенталинский.
Преступление без наказания. М., 2007. С. 465–466)*

История обрастает новыми подробностями: Сталина бьют в грудь, в голову, по глазам. На него сыплются сотни ударов. Тяжело дышат отупелые, потные палачи...

Но не ради этих “художественных” красот я привел тут еще и этот, уже третий призыв к писателям — на сей раз зарубежным — претворить этот факт сталинской биографии в художественное произведение — не только русской, но даже и мировой литературы.

Уже трижды — с разных трибун — звучит этот призыв из уст авторитетнейших деятелей советского политического и культурного истеблишмента. И — никакой реакции. Ни один “художник слова”, ни один драматург, киносценарист, даже живописец этим эффектным сюжетом не соблазнился.

Почему же? Ведь сюжет — такой выигрышный! И на использование его дано разрешение — даже не разрешение, а прямое указание — с таких высоких трибун!

Я думаю, что никто не посмел претворить этот эпизод в развернутый художественный сюжет “страха ради иудейска”. Одно дело — с пафосом пересказать эту драматическую историю. И совсем другое — представить на театральных подмостках, или киноэкране, или хотя бы даже красками на холсте *Сталина, страдающего от обрушивающихся на него ударов.*

Отважился на это только один Булгаков. И мало того, что отважился, он еще и написал эту сцену не так, как предлагалось с высоких трибун, а — по-своему, по-булгаковски. Стараясь придать этой искусственной и довольно-таки фальшивой сцене черты хоть какой-то жизненной, а значит, и художественной достоверности.

В классическом, ставшем уже хрестоматийным варианте Сталин идет сквозь строй избивающих его ружейными прикладами солдат. Идет с высоко поднятой

головой, невозмутимо читая книгу Маркса. (В первоисточнике — у Верещака — никакого Маркса не было, эта виньетка впервые появилась у Емельяна Ярославского, ход мысли которого понятен: какую еще книгу мог читать Сталин под ударами ружейных прикладов? Не Жюль Верн же и не “Три мушкетера”.)

У Булгакова ситуация вообще совершенно иная. Бьют Сталина не солдаты, а тюремные надзиратели. И бьют они его не прикладами ружей, а ножами шашек. И — самое главное! — Сталин не идет сквозь строй с гордо поднятой головой, невозмутимо читая книгу, а бросает свой сундучок, освобождая руки, которые скрепляет над головой, чтобы защититься от ударов.

Один из самых известных на Западе биографов Сталина — Роберт Таккер — сообщает по этому поводу, что Сталин послал рукопись булгаковской пьесы на отзыв А.Н. Толстому, и тот будто бы —

... нашел оскорбительной ту сцену, в которой будущий вождь страдал от физических ударов.

(Tacher C. Robert. Stalin in power. The Revolution from above 1928–1941. New-York–London, 1992. P. 583)

Может быть, так оно и было. Но Сталин и без подсказки Алексея Николаевича мог счесть эту сцену оскорбительной для “образа вождя”. А может быть, и это скорее всего, Алексей Николаевич художественным своим чутьем угадал, как должен был отреагировать на эту булгаковскую интерпретацию ставшего уже каноническим эпизода его биографии Сталин.

Булгаков всего этого не мог не понимать.

Казалось бы, что мешало дать ему эту сцену в ее хрестоматийном, каноническом варианте? В номерах служить, подол заворотить, а снявши голову, по волосам не плачут.

Тут можно было бы сказать, что помешало ему это сделать чувство художественной правды, органическое отвращение к фальши, к дешевой литературщине. Но я скажу иначе. Он не смог сделать это, потому что сделать это мог бы, только отказавшись от самых основ своего художественного метода. Помните, как сказано об этом в его “Театральном романе”?

... мне стало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что это картинка. И более того, что картинка эта не плоская. А трехмерная. Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся фигурки... А как бы фиксировать эти фигурки? Так, чтобы они уже не ушли более никуда?

И ночью однажды я решил эту волшебную камеру описать. Как же ее описать?

А очень просто. Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует.

Это был единственный доступный ему способ писать пьесы. Другого он не знал.

Так вот: Сталина, гордо, с высоко поднятой головой идущего сквозь строй с раскрытой книгой в руках, он *не видел*. А Сталина, защищающегося от ударов скрещенными над головой руками, *увидел*.

С этим свойством его художественного зрения была связана и другая причина, из-за которой он не мог следовать хрестоматийному канону.

Тут мы подходим к пониманию главной опасности, ожидавшей Булгакова при осуществлении этого его замысла и в конечном счете определившей неизбежность его краха.



4 марта 1936 года Елена Сергеевна Булгакова записала в своем дневнике:

Сегодня в газете объявлен конкурс на учебник по истории СССР. М.А. сказал, что он хочет писать учебник — надо приготовить материалы, учебники, атласы.

*(Дневник Елены Булгаковой.
М., 1990. С. 116)*

Это не было минутной, быстро прошедшей блажью. Намерение написать учебник по истории СССР у него было серьезное.

В объявлении о конкурсе (оно было подписано Сталиным и Молотовым) Михаил Афанасьевич подчеркнул слово “премия” и сумму первой премии — “100 000 рублей”. Он также подчеркнул, какие требования предъявлялись к будущему учебнику. Особенно тут его вдохновило, что учебник, согласно этим требованиям, должен был стать “ярким, интересным, художественным”.

Конечно, денежная премия (100 000 рублей) тоже его привлекала. Но главным в том, что он клюнул на эту наживку, было все-таки ощущение, что поставленная задача отвечает собственным его склонностям и интересам и что она ему по плечу.

Замыслом дело не ограничилось. Оказывается, он —

...Проделал большую работу. (О сохранившихся четырех тетрадях “Курса” см.: Лурье Я.С., Панеях В.М. “Работа М.А. Булгакова над курсом истории СССР”. “Русская литература”, 1988, № 3. Там же опубликована глава “Емельян Пугачев”.)

Е.С. по-разному объясняла, почему Булгаков все-таки оставил этот труд: объясняла его нездоровьем, занятостью, но выдвигала и третью, самую простую и, по-видимому, самую верную причину: результаты таких конкурсов, как известно, определялись заранее и судьба учебника была решена прежде, чем Булгаков мог закончить свою работу.

(Дневник Елены Булгаковой.
М., 1990. С. 367)

Так оно, наверно, и было. Но удивляться тут надо не тому, что он бросил эту работу, а тому, что он ее *начал*. И даже некоторое время продолжал. Неужели он не понимал, КАКОЙ УЧЕБНИК ПО ИСТОРИИ СССР ИМ НУЖЕН?

Очевидно, не понимал. Но для этого его непонимания были свои причины.

16 мая 1934 года было обнародовано постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) “О структуре начальной и средней школы в СССР” и “О преподавании гражданской истории в школах СССР”. В постановлении говорилось о введении общего типа образовательной школы для всего Советского Союза — начальной, неполной средней и средней. Группы переименовывались в классы, нулевая группа в приготовительный класс. Это был поворот — лучше даже сказать возврат — к структуре старой, дореволюционной русской гимназии. Такой же резкий поворот — и в ту же сторону — обозначился и

в той части этого постановления, в которой говорилось о преподавании истории. “Связное изложение гражданской истории, — говорилось там, — подменялось отвлеченными социологическими схемами”.

О том, как это выглядело в натуре, мы знаем из фельетона И. Ильфа и Е. Петрова, появившегося в “Правде” 21 мая того же года:

— Кто была Екатерина Вторая?

— Продукт.

— Как продукт?

— Я сейчас вспомню. Мы прорабатывали... Ага! Продукт эпохи нарастающего влияния торгового капитала...

— Ты скажи, кем она была? Должность какую занимала?

— Этого мы не прорабатывали...

— Вы кушайте, — сказала сердобольная мама. — Вечно у них эти споры.

— Нет, пусть он мне скажет, что такое полуостров? — кипятился папа. — Пусть скажет, что такое Куро-Сиво? Пусть скажет, что за продукт был Генрих Птицелов?

Загадочный мальчик сорвался с места, дрожащими руками запихнул в карман рогатку и выбежал на улицу.

— Двоечник! — кричал ему вслед счастливый отец. — Все директору скажу!

Он наконец взял реванш.

*(Илья Ильф, Евгений Петров.
Разговоры за чайным столом)*

Папа этого “загадочного мальчика”, сформированного “единой трудовой” советской школой, был старый большевик, то есть один из тех, кто заварил всю эту кашу. Но и он был рад, что все наконец возвращается на круги

своя: группы опять будут называться классами, история станет историей, а география географией.

Ну а для такого человека, как Булгаков, это и вовсе был — “майский день, именины сердца”.

В новом учебнике, конкурс на создание которого был объявлен, Екатерина Вторая уже не будет называться продуктом, а опять станет тем, кем она была в действительности. И то же произойдет с Петром Первым, и с Емельяном Пугачевым, и, глядишь, даже с царем-освободителем. Так почему бы ему не поучаствовать в этом *возвращении к норме*, не попробовать написать этот новый, *нормальный* учебник?

Веру в то, что это возможно, в нем, наверно, поддерживал и укреплял разгром так называемой “школы Покровского”. Сталин решительно осудил приписываемую М.Н. Покровскому формулу, согласно которой “история — это политика, опрокинутая в прошлое”. Что, разумеется, не мешало ему на деле, решая, какой должна быть история советского государства, неизменно руководствоваться именно этой формулой.

Ну а в 1939 году, когда Булгаков вплотную приступил к работе над пьесой о молодом Сталине, торжество этого принципа было уже очевидно. Уже вышел в свет фактически самим Сталиным написанный “Краткий курс истории ВКП(б)”, в котором вся новейшая история была переписана в полном соответствии с практикой оруэлловского Министерства правды, где новая ложь сменяла не правду, а старую, вчерашнюю ложь, а какой была правда, никто уже давно не помнил. Чтобы это стало возможным, Сталину пришлось пролить океан крови, и в 1939 году Булгаков не мог этого не знать. И тем не менее пьеса о молодом Сталине, которую он решил написать, должна была быть, так, во вся-

ком случае, это ему представлялось, исторически достоверной.

Прямого разговора о том, что побуждает его писать пьесу о молодом Сталине, у нас с ним не было ни разу. Могу поделиться только тем, как я воспринимал это тогда и продолжаю воспринимать теперь. Его увлекал образ молодого революционера, прирожденного вожака, героя (это его слово) в реальной обстановке начала революционного движения и большевистского подполья в Закавказье. В этом он видел благодарный материал для интересной и значительной пьесы. Центральную фигуру он хотел сделать исторически достоверной (для этого ему было необходимо получение не только общеизвестных, но и архивных материалов, на возможность которого он с самого начала рассчитывал, но которое так и не удалось осуществить), и в то же время она виделась ему романтической (тоже его слово).

*(В. Виленкин. Воспоминания с комментариями.
М., 1982. С. 397)*

Стремление Булгакова получить доступ к архивным материалам (а это его стремление подтверждается и записями в дневнике Елены Сергеевны) реализовано не было. И слава Богу! Только этого ему еще не хватало!

Не то что интерес к архивным материалам, но даже интерес к материалам опубликованным (тем, которые еще не успели изъять) — и тот был нежелательным.

Мало сказать — нежелательным. Он был смертельно опасным!

Сталин не любил, когда кто-то начинал копаться в его прошлом. Резко осудив изданную Детгизом книжку рассказов В.В. Смирновой о его детских годах, он не

смог скрыть своего раздражения, заключив этот свой отзыв коротким распоряжением: “Книгу — сжечь!”

Прикосновение к реальным обстоятельствам его семинарской юности и началу его революционной работы было еще более опасным.

29 декабря 1934 года в “Правде” появилась статья, приуроченная к годовщине Бакинской забастовки 1904 года, в которой была предпринята атака на А.С. Енукидзе. Тот еще был в то время секретарем Президиума ЦИК СССР, членом ЦК ВКП(б). Но дело даже не в этом: в ближайшем окружении Сталина он был одним из самых близких ему людей. Александр Орлов главу своей книги “Тайная история сталинских преступлений”, посвященную Авелю Софроновичу, назвал: “Ближайший друг”. В главе этой он, между прочим, рассказывает:

Мне, в частности, известно, что когда в 1926 году Сталин собирался ввести его в Политбюро, Авель сказал: “Сосо, я так или иначе буду тянуть свою лямку, ты лучше отдай это место Лазарю (Кагановичу), он давно стремится его получить!”

Сталин с ним согласился. Он знал, что Авеля не требуется подкупать разного рода подачками, что на него можно положиться, не прибегая к специальным поощрениям.

(Александр Орлов. Тайная история сталинских преступлений. М., 1991. С. 290)

Не может быть сомнений, что без согласия — и даже без личного указания Сталина — Мехлис (тогдашний редактор “Правды”) тронуть Авеля ни в коем случае бы не осмелился.

Возмущенный Авель направил “ближайшему другу Сосо” гневное письмо, в котором объявлял нападки на него в центральном органе партии клеветническими. Письмо это было послано генсеку 8 января 1935 года — под грифом “Строго секретно”. Авель Софронович не знал, что за четыре дня до этого Сталин получил секретное донесение Мехлиса, в котором были подробно перечислены и сурово прокомментированы все его исторические и политические ошибки, после чего следовало такое заключение:

Наши выводы:

- 1) В материалах т. Енукидзе совершенно несправедливо умалена роль Владимира Кецховели — вождя Бакинской партийной организации в начале девятисотых годов, одного из первых (если не первого) большевиков-“искровцев” в Закавказье среди грузинских социал-демократов. Зато явно преувеличена роль самого т. Енукидзе. Наша печать, находясь под влиянием этих, много раз опубликованных материалов т. Енукидзе, воспринимает ошибочную точку зрения о роли Кецховели и Енукидзе. Эту ошибку надо в кратчайший срок исправить.
- 2) Книжку т. Енукидзе “Большевистские нелегальные типографии”, вышедшую в 1934 году третьим изданием, нельзя больше в таком виде переиздавать. Эту книжку, а также другие упоминаемые нами документы, следовало бы подвергнуть критическому разбору на страницах “Правды”. Это может сделать редакция “Правды” или же т. Енукидзе, выступив в печати с критикой своих ошибок.

По поручению редакции “Правды” Л. МЕХЛИС

*(Большая цензура.
М., 2005. С. 354–355)*

В своем “строго секретном” письме Сталину Енукидзе приводит многочисленные выписки из своих воспоминаний, долженствующие доказать, что статья “Правды” возвела на него напраслину, что на самом деле он очень высоко ценил выдающегося кавказского революционера Ладо Кецховели. И собственную свою роль тоже не преувеличивал. Писал правду. Рассказывал обо всем честно, так, как оно было на самом деле:

... Ни в одном своем выступлении, ни статье, ни автобиографии я не говорил, что я создал и основал Бакинскую партийную организацию. Я говорил и писал, что я вместе с другими товарищами организовал кружки на разных предприятиях Баку еще до приезда в Баку Вл. Кецховели и что начало Бакинской организации я отношу к 1899 году. Это может быть нескромно, но это верно.

(Большая цензура. С. 358)

Напротив последних слов Сталин написал: “Ха-ха!”. А весь абзац подчеркнул и на полях начертал: “Как это?..”

Вовсе не недооценка роли Ладо Кецховели вызвала недовольство вождя, а возмутительная недооценка его собственной роли, выдающейся роли “товарища Сталина”.

В своей книге “Большевистские нелегальные типографии”, которую Мехлис предлагал осудить и запретить, Енукидзе подробно рассказывал о работе подпольной типографии “Нина”, которую он организовал и работу которой возглавил. В этом своем рассказе он мимоходом упомянул, как строго соблюдалась конспирация: о существовании типографии (кроме работавших в ней подпольщиков) знали только Кецховели, доставший для нее деньги Красин и он сам, Енукидзе. Полу-

чалось, что главный революционер Кавказа, “кавказский Ленин” ничего об этом не знал! От него это держали в секрете!

Это уж не лезло ни в какие ворота.

Наивный Авель не понял — или не хотел понимать! — что никому уже не нужна была его правда, его честный рассказ о том, как оно там было на самом деле.

Статья “Правды” была началом его краха. Через несколько месяцев он был снят со всех своих постов, выселен из Кремля и отправлен в Грузию, где ему было назначено стать председателем грузинского ЦИКа. Но не успел он доехать до Тбилиси, как это назначение была заменено другим: ему была уже уготована жалкая должность директора какого-то санатория. Но и это не надолго. Вскоре он был объявлен врагом народа и расстрелян.

Во всех подробностях все это Булгакову, конечно, не могло быть известно. Но падение Енукидзе не могло не поразить его. Енукидзе, помимо всего прочего, по должности своей курировал театры, в частности МХАТ. Именно к нему Булгаков обращался с разными своими жалобами. (Например, на то, что его не пускают за границу.) Имя Енукидзе постоянно мелькает на страницах дневника Елены Сергеевны. В таком, например, контексте:

Положение с “Бегом” очень и очень неплохое... Говорят — ставьте. Очень одобряет и Иосиф Виссарионович и Авель Софронович.

*(Дневник Елены Булгаковой.
М., 1990. С. 69)*

Первопричина внезапного падения Авеля Софроновича вряд ли была им известна. Но что-то наверняка просочилось, какие-то слухи были. Да и статья, напечатан-

ная в “Правде”, не могла быть ими не прочитана. А уж читать такие статьи внимательно и понимать все, что говорилось в них между строк, читатели “Правды” в то время уже умели.

В общем, что говорить: Булгаков прекрасно понимал, — не мог не понимать! — какую смертельную опасность представляло для него прикосновение к реальной биографии молодого Сталина. И это было — первое, о чем он подумал, прочитав телеграмму, отменявшую их поездку в Батум:

Сначала мы думали ехать, несмотря на известие, в Тифлис и Батум. Но потом поняли, что никакого смысла нет, все равно это не будет отдыхом, и решили вернуться. Сложились и в Туле сошли. Причем тут же опять получили молнию — точно такого же содержания.

Вокзал, масса людей, открытое окно кассы, неизвестность, когда поезд. И в это время, как спасение, появился шофер ЗИСа, который сообщил, что у подъезда стоит машина, билет за каждого человека 40 руб., через три часа будем в Москве. Узнали, сколько человек он берет, — семерых, сговорились, что платим ему 280 руб. и едем одни. Миша одной рукой закрывал глаза от солнца, а другой держался за меня и говорил: навстречу чему мы мчимся? Может быть — смерти?

(Запись в дневнике Е.С. Булгаковой 12 августа 1939 года.

Воспоминания о Михаиле Булгакове.

М., 2006. С. 280)

Мысль, что они мчатся, быть может, навстречу смерти, осенила Булгакова не потому, что он опасался, что Сталин разгадал его тайный замысел изобразить в его лице Антихриста, “рябого черта”, укравшего у людей солнце,

или обнаружил в его пьесе еще какой-нибудь такой же жуткий подтекст.

Дело тут было не в подтексте, а в тексте.

Булгаков прекрасно понимал, что реакция Сталина непредсказуема, потому что вызвать его недовольство и даже гнев могли не две или три сцены (“цыганка, родинка, слова, перемежающиеся с песней”), а вся пьеса. Точнее — любая ее сцена.

Ну, скажем, вот эта:

СТАЛИН. Здравствуй, Порфирий. Ты меня поверг в отчаяние своими ответами. Я подумал, куда же я теперь денусь.

ПОРФИРИЙ. Но, понимаешь.. понимаешь, я не узнал твой голос...

СТАЛИН. Огонь, огонь... погреться...

ПОРФИРИЙ. Конечно, слабая грудь, а там — какие морозы!...

СТАЛИН. У меня совершенно здоровая грудь и кашель прекратился...

Теперь, когда Сталин начинает говорить, становится понятным, что он безмерно утомлен.

Я, понимаете, провалился в прорубь... там... но подтянулся и вылез... а там очень холодно, очень холодно... И я сейчас же обледенел... Там все далеко так, ну, а тут повезло: прошел всего пять верст и увидел огонек... вошел и прямо лег на пол... а они сняли с меня все и тулупом покрыли... Я тогда подумал, что теперь я непременно умру, потому что лучший доктор...

ПОРФИРИЙ. Какой доктор?

СТАЛИН. А?.. В Гори у нас был доктор, старичок, очень хороший...

ПОРФИРИЙ. Ну?

СТАЛИН. Так он мне говорил: ты, говорит, грудь береги... ну, я, конечно, берегся, только не очень аккуратно... И когда я, значит, провалился... там... то подумал: вот я сейчас буду умирать. Конечно, думаю, обидно... в сравнительно молодом возрасте... и заснул, проспал пятнадцать часов, проснулся, а вижу — ничего нет. И с тех пор ни разу не кашлянул. Какой-то граничащий с чудом случай... А можно мне у вас ночевать?

НАТАША. Что же ты спрашиваешь?..

СТАЛИН. Наташа, дай мне кусочек чего-нибудь съесть.

НАТАША. Сейчас, сейчас, подогрею суп!..

СТАЛИН. Нет, нет, не надо, умоляю! Я не дождусь. Дай чего-нибудь, хоть корку, а то, ты знаешь, откровенно, я двое суток ничего не ел...

ПОРФИРИЙ (*бежит к буфету*). Сейчас, сейчас, я ему...

Сталин, съев кусок и глотнув вина, ставит тарелку на пол, кладет голову на край кушетки и замолкает.

НАТАША. Сосо, ты что? Очнись...

СТАЛИН. Не могу... я последние четверо суток не спал ни одной минуты... думал, поймать могут... а это было бы непереносимо... на самом конце...

ПОРФИРИЙ. Так ты иди ложись, ложись скорей!

СТАЛИН. Нет, ни за что! Хоть убей, не пойду от огня... пусть тысяча жандармов придет, не встану... я здесь посижу... (*Засыпает.*)

(*Мих. Булгаков. Собр. соч. Том 3.
М., 1990. С. 569–570*)

Я оставляю в стороне некоторую щекотливость самой ситуации: чудесное возвращение Сталина из Сибири всего лишь через месяц после того, как его сослали в Иркутскую губернию под гласный надзор полиции. Он,

оказывается, бежал. Ходили слухи, что этот чудесный побег Сталина был осуществлен не без помощи полиции, с которой молодой Коба в то время уже сотрудничал. Само прикосновение автора пьесы к этому сюжету могло вызвать раздражение вождя. Но это я, как уже было сказано, оставляю за скобками.

Неудовольствие и даже раздражение вождя тут могла вызвать *вся* эта сцена — так, как она написана. Буквально каждый жест и каждая фраза, каждая реплика, вложенная драматургом в уста своего героя.

Булгакова не обманывали, объясняя ему запрет пьесы тем, что “нельзя такое лицо, как И.В. Сталин, делать романтическим героем, нельзя ставить его в выдуманные положения и вкладывать в его уста выдуманные слова”. Но дело было не в том, что эти положения и слова были выдуманы, а в том, КАКИЕ это были положения и КАКИЕ слова.

В пьесе Шалвы Дадиани Сталин тоже был выведен романтическим героем. И в той пьесе тоже были и выдуманные положения, и выдуманные слова:

СТАЛИН (*представляясь*). Я делегат Закавказья.

ЛЕНИН. А мы только что о вас говорили — пламенный колхидец, не так ли?

СТАЛИН (*улыбаясь*). Да, вы меня так называли. Здравствуйте, горный орел.

ЛЕНИН. Давайте вашу руку.

Такие — явно выдуманные! — и слова, и положения Сталина вполне устраивали. Но Сталин, готовый прийти в отчаяние от того, что ему некуда пойти переночевать, продрогший от холода до костей, не находящий в себе сил, чтобы отойти от огня, голодный, не умеющий со-

владать со своей смертельной усталостью, — нет, такой “Сталин” Сталина устроить не мог.

Да, конечно, пьеса, которую от Булгакова ждали, должна была пробуждать в зрителе любовь “к товарищу Сталину”. Но — не любовь-сочувствие и, разумеется, не любовь-жалость, а — любовь-обожание. А лучше всего — любовь-страх, любовь, основанную на страхе.

Человек, помнивший Сталина еще по его работе в Наркомнаце, рассказывал мне, что в свой наркомат Сталин являлся незаметно и на всем протяжении трудового дня старался как можно реже показываться на глаза сотрудникам. Когда его однажды спросили, почему он так себя ведет, он буркнул в ответ:

— Меньше будут видеть, больше будут бояться.

Когда в фильме “Падение Берлина” Сталин в ослепительно белом мундире спускался с трапа самолета, как ангел с неба, навстречу ему кидалась проходившая через весь фильм знакомая ему девушка. Подбежав к нему, она, не в силах сдержать своих чувств и в то же время выражая чувства всего советского народа, восклицала:

— Можно я вас поцелую, товарищ Сталин!

В сценарии после этой реплики следовала ремарка: “Бросается ему на шею”. Но в фильме она не бросалась Сталину на шею, а произнесла эту свою коронную реплику, *целовала вождя “в плечико”*.

Такова была эстетика и поэтика, предписывавшая, как надлежит изображать вождя на сцене и на экране. Пьеса Булгакова в эту эстетику и в эту поэтику не вмещалась. Поэтому бессмысленно было гадать, какие сцены могли вызвать неудовольствие вождя. Вся эта пьеса была — сплошное минное поле, и автор мог “подорваться на mine” в любом месте этого минного поля, в любой момент сценического действия.

Из этого, однако, не следует, что пьеса Булгакова Сталину не понравилась.

Генеральный секретарь, разговаривая с Немировичем, сказал, что пьесу “Батум” он считает очень хорошей, но что ее нельзя ставить.

*(Запись в дневнике Е.С. Булгаковой 12 августа 1939 года.
Воспоминания о Михаиле Булгакове.
М., 2006. С. 288)*

В другой раз, когда зашел разговор на эту тему, Сталин высказался несколько иначе.

— Эту пьесу, — будто бы сказал он, — написал честный человек, но ставить ее нельзя.

Можно не сомневаться, что эти комплименты Булгакову (не сомневаясь, что их ему передадут) Сталин отпустил не для того, чтобы подсластить горькую пилюлю. И уж во всяком случае, не из вежливости. Когда ему было нужно, он не боялся показаться невежливым, не стеснялся даже быть грубым. (Вспомним его письмо Станиславскому об эрдмановском “Самоубийце”.)

Нет-нет, пьеса Булгакова определенно чем-то пришлась ему по душе. Я не исключаю, что в глубине души он, быть может, даже сожалел, что вынужден был ее запретить.

Во всяком случае, интерес к Булгакову он сохранял до самой смерти опального Мастера, до последнего его вздоха.

10 марта в 4 часа он умер. Мне почему-то всегда кажется, что это было на рассвете.

На следующее утро — а может быть, в тот же день, время сместилось в моей памяти, но кажется, на следующее утро, — позвонил телефон.

Подошел я. Говорили из секретариата Сталина. Голос спросил:

— Правда ли, что умер товарищ Булгаков?

— Да, он умер.

Тот, кто говорил со мной, положил трубку.

*(Сергей Ермолинский. Записки о М. Булгакове.
В кн.: Сергей Ермолинский. О времени,
о Булгакове и о себе. М., 2002. С. 190)*



Итак, Булгаков умер 10 марта 1940 года. А в октябре того же года С.А. Ермолинский, ответивший на этот телефонный звонок, был арестован. Начались допросы:

В О П Р О С. С писателем БУЛГАКОВЫМ вы знакомы?

О Т В Е Т. С писателем БУЛГАКОВЫМ до его смерти я был хорошо знаком...

В О П Р О С. Следствие требует рассказать о вашей совместной антисоветской работе.

О Т В Е Т. Никакой антисоветской работы я не вел ни с кем, в том числе с БУЛГАКОВЫМ...

В О П Р О С. Кто участвовал в проводившихся сборищах на квартире реакционного писателя БУЛГАКОВА?

О Т В Е Т. На сборищах на квартире Булгакова я не бывал...

В О П Р О С. Для каких целей вы группой встречались на квартире Булгакова?

О Т В Е Т. На квартире БУЛГАКОВА встречались указанные лица из-за хорошего отношения друг к другу, кроме того, БУЛГАКОВ был связан по театральной работе с указанными лицами...

В О П Р О С. По какой линии шла антисоветская деятельность?

О Т В Е Т. На этот вопрос я ответить не могу, так как антисоветской деятельностью не занимался.

В О П Р О С. Расскажите о характере сборищ, происходивших на квартире БУЛГАКОВА.

О Т В Е Т. Сборищ на квартире Булгакова не было, у него собирались гости.

*(“Независимая газета”, 16.05.1995.
Публикация Г. Файмана, Вл. Виноградова,
В. Гусаченко. Архив ФСБ)*

Сталин после того, как он приказал Поскребышеву удостовериться, что “товарищ Булгаков умер”, никакого личного интереса к покойному писателю, насколько нам известно, больше не проявлял. Но созданная им машина, уже без его участия и даже помимо его воли, продолжала работать, набирая все новые и новые обороты.

Об авторе

Бенедикт САРНОВ (1927) — писатель, критик, литературовед. Автор книг: “Страна нашего детства. Литературно-критические статьи” (1965); “Рифмуется с правдой. Книга не только про стихи” (1967); “Самуил Маршак. Очерк поэзии” (1968); “Бремя таланта. Портреты и памфлеты” (1987); “По следам знакомых героев” (1989); “Заложник вечности. Случай Мандельштама” (1990); “Смотрите, кто пришел. Новый человек на арене истории” (1992); “Пришествие капитана Лебядкина. Случай Зощенко” (1993); “Опрокинутая купель” (1997); “Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма” (2002); “Занимательное литературоведение” (2003); “Скуки не было. Первая книга воспоминаний” (2004); “Скуки не было. Вторая книга воспоминаний” (2005); “Бесконечный лабиринт” (2005); “Пушкин и мы” (2006); “Случай Эренбурга. У времени в плену” (2006); “Шерлок Холмс меняет профессию. Книга первая” (2007); “Шерлок Холмс меняет профессию. Книга вторая” (2008); “И где опустишь ты копыта. Статьи, очерки, фельетоны 80–90-х годов” (2007); “Маяковский. Самоубийство” (2007); “Сталин и писатели. Книга первая” (2008); “Сталин и писатели. Книга вторая” (2009); “Сталин и писатели. Книга третья” (2010); “Сталин и писатели. Книга четвертая” (2011); “Кому улыбался Блок. Литературные фельетоны” (2009); “Если бы Пушкин...” (2011).

Как видим, в библиографии Бенедикта Михайловича уже содержится биография.

Один из самых ярких и читаемых критиков шестидесятых (а бесповоротно они закончились в 1968-м, когда советские танки вошли в Прагу) в годы застоя не смог выпустить ни одной книги. Это длилось почти двадцать лет (!) — с того самого 1968-го по 1987-й — год уже внятно проявившейся горбачевской гласности. В это время Сарнов активно сотрудничал с одним из флагманов перестройки — журналом “Огонек”, вел там рубрику “Запасники русской прозы XX века”, в которой опубликовал несколько десятков замечательных текстов — или неизвестных, или под воздействием репрессивной машины прочно забытых читателями.

В настоящее время Бенедикт Михайлович Сарнов продолжает много и плодотворно работать (публикуется в том числе и в “Новой газете”), живет в Москве.

БЕНЕДИКТ САРНОВ
ИМПЕРИЯ ЗЛА
Невыдуманные истории

Руководитель серии
ВЕРА КОНЕВА

Составление и общая редакция
ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ

Художественное оформление
АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО

Корректор
ЕЛЕНА ФРУНЗЕ

Компьютерная верстка
КОНСТАНТИН МОСКАЛЕВ

Подписано в печать 11.07.2011.
Формат 84×108/32.
Гарнитура OriginalGaramondC BT.
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 8,5. Тираж 15000 экз.
Заказ № 3226.

АНО РИД “Новая газета”
101990, г. Москва, Потаповский пер., 3
Телефон: +7 (495) 926 20 01
Факс: +7 (495) 623 68 88
[Http://www.novayagazeta.ru](http://www.novayagazeta.ru)

Отпечатано в ОАО “Тульская типография”
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109



Эта книга начинается с небольших, ярких, невыдуманных историй, иногда похожих на байки, которые показывают абсурдность и ужас жизни людей, в том числе знаменитых, при сталинщине. Но автор — известный и популярный с 60-х критик и литературовед Бенедикт Сарнов — на этом не останавливается: он вскрывает психологические механизмы отношений жертв и палача. Приходит к удивительному выводу, что крайней степенью страха, единственной возможностью его преодолеть становится... любовь к палачу. Вот такой "стокгольмский синдром" России, которую Сталину удалось взять в заложники.

Бенедикт Сарнов

НОВАЯ
ГАЗЕТА



Империя зла. Невыдуманные истории

НОВАЯ
ГАЗЕТА

Бенедикт Сарнов
Империя зла
Невыдуманные истории

Вещественные
доказательства

